Денис Пожидаев

ЛИТРОВАЯ БАНКА



Денис Пожидаев

Литровая банка

«Автор»
2026

Пожидаев Д.

Литровая банка / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

Конец мая, Минеральные Воды, пиццерия в торговом центре. Илья и Дима дружат с первого класса. Сейчас они спорят о последнем куске пиццы и придумывают приложение для учёта маминых закаток. Через полчаса по проспекту поползёт что-то огромное, бледное и бесконечное, а люди на улице начнут вставать и больше не двигаться.Илья очнётся на поляне в чужом мире. В траве рядом будет стоять литровая стеклянная банка без крышки. В банке — Дима. Ростом шесть сантиметров.Впереди у них таможня, где декларируют страхи. Город, где чувства ходят с бейджами. Посёлок, в котором каждый день пересчитывают едоков. Домовой и ниссе, которые враждуют из-за полочки для веника. Город, где невозможно сказать правду. Боги, которые не могут договориться о четверге. И долина жнецов, где на каждого есть запись — кроме этих двоих.Шесть миров. Одна банка. И каждый шаг — навстречу тому, от чего они бегут.Это роман о страхе, дружбе и о том, что держать — не значит владеть.

© Пожидаев Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Смотреть его глазами 6
Глава 1. Тара 6
Глава 2. Крыша 16
Глава 3. Воронка 26
Глава 4. Беги 33
Глава 5. Декларация 43
Глава 6. Мастерская 50
Конец ознакомительного фрагмента. 57

Литровая банка

© Денис Пожидаев, 2026

Все события и персонажи романа вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и происшествиями случайны.

Часть первая. Смотреть его глазами

Страх становится тобой не тогда, когда ты его видишь, а тогда, когда начинаешь смотреть на мир его глазами.

Глава 1. Тара

— Кусок общий, — сказал Дима и потянул последний треугольник пиццы к себе вместе с картонкой. — Ты его держишь, не спорю. Но держатель — не владелец.

Илья успел прижать край коробки ладонью. Картон выгнулся, между ними на столе повис тонкий мост из расплавленного сыра, и несколько секунд оба делали вид, что ничего особенного не происходит.

— Я держу его уже минуту, — сказал Илья. — По закону о приобретательной давности…

— Для движимого имущества пять лет. — Дима даже не поднял глаз. — Ты не дотянешь. Ты голодный.

— Я не голодный. Я принципиальный.

— Тем более не дотянешь. Принципиальные умирают первыми, это в любом кино видно.

Сыр лопнул. Илья отпустил коробку, откинулся на спинку дивана и сделал широкий жест рукой — забирай, мол, пользуйся моим великодушием, запомни этот день. Дима кивнул так, будто и не сомневался в решении суда, и съел кусок в четыре укуса, глядя в окно с видом человека, который справедливость не выпрашивает, а просто забирает у стола, когда она там лежит.

Этот кусок они делили, по большому счёту, с первого класса. Менялись кусок, стол и город, а сам спор оставался прежним: кто-то должен был проиграть и сделать вид, что уступил сам. Лет в двенадцать Илья посчитал, что проигрывает примерно в шести случаях из десяти, и какое-то время собирался поднять этот вопрос официально. Потом понял, что статистику Дима оспорит, выборку назовёт нерепрезентативной, а методологию — детской, и оставил всё как есть. Проигрывать Диме было не обидно. Обидно было бы проигрывать кому-то другому.

Пиццерия занимала угол второго этажа торгового центра, и из её окна проспект Двадцать второго Партсъезда выглядел так, как всегда в конце мая: широким, солнечным, немного пыльным, с тополями, которые уже начинали думать о пухе, и с маршрутками, которые ни о чём не думали. Внутри работал кондиционер, пахло тестом и чем-то сладким из кофейни напротив. За соседним столом мальчик лет пяти привязал к запястью воздушный шар и теперь проверял, можно ли есть пиццу, не опуская руки, а его мать делала вид, что не видит, как шар задевает лампу. Официантка с усталым лицом и серёжкой в виде клубники принесла им второй лимонад и забрала пустую тарелку из-под сырных палочек тем точным движением, которое к обеду у официантов становится совсем механическим.

Илья приехал вчера вечером, шесть часов в автобусе из Краснодара. Дима прилетел позавчера и уже успел сказать про Минводы всё, что москвич второго курса обязан сказать про родной город: тихо, дёшево и аэропорт больше половины города. Илья ответил, что, если Дима ещё раз скажет «у нас в Москве», он лично сдаст его в этот аэропорт как невостребованный багаж. После этого договорились, что оба живут в плохих городах, а хороший город — вот этот, где мама кормит и маршрутка стоит сорок рублей.

— Слушай, — сказал Илья, когда Дима доел. — У меня идея.

— Нет.

— Ты не слышал.

— Мне не надо слышать. У тебя такое лицо, как в девятом классе, когда ты придумал продавать домашку по подписке.

— Это была нормальная бизнес-модель.

— Нас вызвали к директору.

— Потому что рынок был не готов. — Илья подвинул к себе салфетку, достал из кармана рубашки ручку, которую носил с собой скорее по привычке, чем по необходимости, и нарисовал на салфетке прямоугольник. — Смотри. Мама вчера полчаса ругалась на соседку с пятого этажа.

— Тётя, которая с собакой?

— Которая с собакой. Мама ей осенью дала банку лечо. Литровую. Прошло полгода. Лечо съедено, банки нет. Мама спрашивала дважды. Соседка оба раза сказала «ой, конечно, занесу». Не занесла. И мама говорит — я цитирую — «дело не в банке, дело в принципе».

— Дело всегда в банке, — сказал Дима. — «Не в банке» говорят, когда жалко банку.

— Вот. — Илья постучал ручкой по салфетке. — Ты уже понял. В каждом подъезде этой страны крутится теневая экономика стеклотары. Банки уходят с вареньем, возвращаются пустыми, не возвращаются вообще, теряются, бьются, передаются третьим лицам. Никакого учёта. Миллионы банок. Ноль прозрачности.

Дима посмотрел на прямоугольник на салфетке, потом на Илью, потом снова на прямоугольник. Илья знал этот взгляд. Так Дима смотрел на техническое задание от заказчика, в котором было написано «сделайте удобно»: с отвращением и нарастающим интересом.

— CRM для закаток, — сказал Дима медленно.

— CRM для закаток.

— Ненавижу тебя.

— Я знаю.

— Сущность одна? Банка?

— Банка, — согласился Илья и подписал прямоугольник. — Объём, содержимое, дата закатки.

— Нет. — Дима отобрал ручку. — Ты сейчас сделаешь то, что все делают, — повесишь всё на одну сущность, а потом будешь полгода разгребать. Банка и содержимое — разные вещи. Банка живёт годами. Содержимое живёт до зимы. Одна банка за свою жизнь может быть огурцами, потом компотом, потом вареньем, потом в ней будут стоять кисточки, потом опять огурцы.

— Кисточки — это статус?

— Кисточки — это деградация. Но да, статус.

Он нарисовал второй прямоугольник, чуть кривее первого, и провёл между ними линию. Илья наклонился над салфеткой. Это была их старая игра, древнее пиццы и всех их городов: взять какую-нибудь очевидную глупость и относиться к ней настолько серьёзно, насколько это вообще возможно, пока глупость не превратится в систему, а система — в чудовище. В восьмом классе они так спроектировали налоговую службу для голубей. В одиннадцатом — избирательную комиссию для очереди в столовую. Ни одна из этих систем не была смешной сама по себе; смешно становилось в тот момент, когда всё начинало сходиться.

— Статусы банки, — сказал Илья. — Пустая. Заполнена. Закатана.

— Вздулась, — добавил Дима. — Это отдельный статус. У него даже есть научное название.

— Какое?

— Бомбаж.

— Ты врёшь.

— Загугли. Бомбаж. Когда крышку выпирает. Ни одна бабушка в России не знает этого слова, но каждая знает, что это такое.

Илья загуглил. Дима не врал. Илья посмотрел на экран с уважением, которого не собирался показывать, и убрал телефон.

— Хорошо, — сказал он. — Закатана, вздулась, открыта, съедена. Дальше главное. Передача. Банка уходит к соседке.

— Передача прав, — поправил Дима. — И вот тут у тебя дыра.

— Какая?

— У банки должно быть два поля. Владелец и держатель. Владелец — кто закатывал. Держатель — у кого стоит. Пока банка у мамы, это одно лицо. Как только банка ушла к соседке, владелец остался мамой, а держателем стала соседка. И весь конфликт — вот. — Он ткнул ручкой в стрелку. — В том, что держатель со временем начинает считать себя владельцем.

— Это называется «соседка с пятого этажа».

— Это называется системная ошибка. Её не надо исправлять в соседке, её надо исправлять в модели.

Официантка прошла мимо, покосилась на салфетку и, судя по лицу, решила, что эти двое рисуют план ограбления. Илья улыбнулся ей самой честной улыбкой, на какую был способен, и она ушла быстрее.

— Возврат тары, — сказал Илья. — Это отдельный бизнес-процесс.

— Это священный бизнес-процесс, — сказал Дима. — Ты знаешь главное правило?

— Вернуть.

— Вернуть не пустой. Пустую банку возвращать неприлично. Надо положить туда что-нибудь своё. Варенье, конфеты, хоть три печенья. Иначе это не возврат, а оскорбление.

— Где это записано?

— Нигде. Это знают. Как знают, что нельзя свистеть в доме и что последний кусок пиццы общий.

— Последний кусок был мой.

— Суд уже принял решение, заседание закрыто.

Илья взял ручку обратно и нарисовал под банкой маленький кружок.

— Тогда возврат с вложением — это транзакция с обратной связью. Соседка возвращает банку, в банке варенье. Теперь у мамы есть варенье соседки. Которое в банке. Которая мамина. Кто владелец варенья?

Дима замолчал. Он молчал секунды три, и за эти три секунды Илья успел почувствовать то маленькое чистое удовольствие, которое бывает, когда в споре с умным человеком наконец находишь вопрос, на который тот не может ответить сразу.

— Ну ты и сволочь, — сказал Дима уважительно. — Варенье — отдельная сущность. У него свой владелец. А банка просто держатель варенья. То есть у нас банка — держатель, и у банки есть держатель.

— Матрёшка прав.

— Иерархия держателей.

— Надо QR-коды на крышки клеить.

— Какие QR-коды, Илюх. Бабушки не будут сканировать QR-коды. Бабушки пишут на крышке маркером: «Огурцы, двадцать третий». Это и есть их QR-код.

— Тогда распознавание почерка. Фотографируешь крышку, нейросеть читает.

— Бабушкин почерк не распознаётся. Он расшифровывается. Там надо не нейросеть, там надо Шампольона.

Илья засмеялся так, что мальчик с шаром обернулся. Дима подтянул салфетку к себе и начал рисовать схему: подъезд, квартиры, стрелки. Банки уходили и возвращались, стрелки путались, в какой-то момент на пятом этаже образовалась воронка, куда банки уходили и откуда не выходили. Дима обвёл её кружком и подписал «чёрная дыра». Илья предложил ввести рейтинг возвратности, Дима — штрафные баллы за возврат без вложения, Илья — пуб-

личную доску почёта в лифте, Дима — ограничение на выдачу банок должникам. Потом Илья сказал, что можно подключить управляющую компанию, и Дима сказал, что можно подключить участкового, и оба одновременно замолчали, потому что посмотрели на схему и увидели, что у них получилось.

— Мы только что спроектировали тоталитаризм для огурцов, — сказал Илья.

— Причём рабочий.

— Это самое страшное.

— Назовём «Банкинг», — сказал Дима. — От слова «банка».

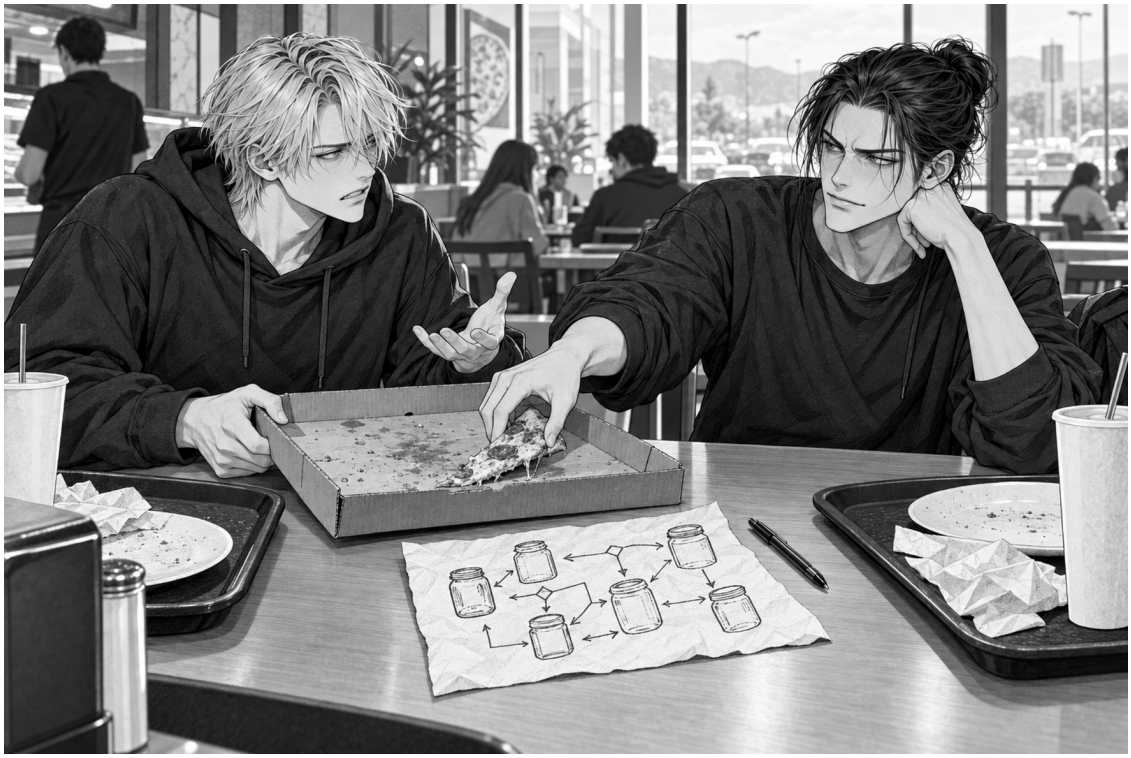
— Нас засудит любой банк страны.

— Тогда «Погребок». Нет. «Тара». Просто «Тара». Слоган: «Всё возвращается».

— Это звучит как угроза.

— Это и есть угроза. Для соседки с пятого.

Он сфотографировал салфетку на телефон, выровняв кадр, как фотографировал доску на парах, и Илья понял, что через месяц эта салфетка вернётся к нему картинкой с подписью «ну что, делаем?», а через два они, может быть, действительно что-нибудь сделают, из чистого упрямства, и это будет лучшая бесполезная вещь на свете. В одиннадцатом классе у них так вышла система, которая по фотографии доски вычисляла, кто из учителей сегодня будет спрашивать. Она угадывала в семидесяти процентах случаев. Остальные тридцать Дима называл «человеческим фактором, который не лечится».



— Посмотри, — сказал Дима и кивнул на окно.

Илья обернулся.

Внизу, у края тротуара, трое военных держали человека. Держали не грубо, без борьбы, просто двое взяли его под локти, а третий стоял рядом и что-то говорил, наклонив голову. Мужчина был лет сорока, в серой рабочей куртке, какую носят на стройке или в автосервисе, с пыльными коленями. Он не вырывался. Его вели к машине защитного цвета, припаркованной

во втором ряду, и он шёл, но шёл боком и всё время поворачивал голову в другую сторону, вдоль проспекта, туда, где улица уходила к перекрёстку и терялась за домами.

— Пакуют, — сказал Дима.

— Может, пьяный.

— В час дня?

— В час дня тоже пьют. Это Минводы, а не Швейцария.

— Смотри, как он смотрит. — Дима прищурился. — Его вяжут, а он в сторону пялится. Как будто автобус ждёт и боится пропустить.

Илья посмотрел. Лица отсюда было не разобрать, но поворот головы был понятен и так. Мужчина смотрел не на военных и не на машину. Если бы Илью вели к машине трое людей с оружием, он, наверное, смотрел бы на людей с оружием. Этот смотрел вдоль улицы, куда-то далеко, с таким напряжением, с каким смотрят на дорогу, когда ждут, что оттуда покажется кто-то свой. Или что-то.

Дверца машины хлопнула. Военные постояли ещё немного у тротуара, один поправил ремень, и машина уехала.



— Всё, кина не будет, — сказал Дима.

— Может, он военную тайну знал.

— Какую тайну может знать человек в такой куртке? Где у них в части лучшая шаурма?

— Это тоже тайна.

— Это самая охраняемая тайна любой части.

Илья хмыкнул и вернулся к салфетке. Там на пятом этаже по-прежнему крутилась чёрная дыра, в которую уходили банки. Он дорисовал рядом собаку, и Дима сказал, что собака — отдельная сущность, потому что может разбить банку, и тогда встаёт вопрос страхового случая. Потом Дима рассказал, как у них в общаге кто-то три недели держал в холодильнике банку маминых огурцов и никому не давал, а когда наконец открыл, оказалось, что его сосед давно их съел, а банку долил водой и закрыл обратно.

— Это же преступление, — сказал Илья.

— Это инженерное решение. Внешне система сохраняет целостность.

— А по сути?

— По сути внутри одна вода. Как в любом проекте после третьего дедлайна.

Мальчик за соседним столом наконец задел шаром лампу, шар хлопнул, мальчик заплакал, мать сказала «я же говорила», и мир на секунду стал совсем обычным — шумным, липким, немного смешным. Илья посмотрел на часы в телефоне. Было без десяти час. Им никуда не надо было торопиться. Вечером Дима обещал заехать к Илье, мама собиралась делать голубцы и уже дважды уточнила, придёт ли «твой Дима», хотя «твой Дима» приходил к ним на голубцы примерно с тех пор, как научился держать ложку. Младшая сестра Ильи, которую все в семье называли мелкой, хотя она уже год как перестала быть мелкой и обижалась, велела купить ей в ТЦ какой-то особый бальзам для губ с запахом арбуза, и Илья держал это поручение в голове с той же серьёзностью, с какой держал бы дедлайн по проекту. Мелкая могла простить многое, но не забытый бальзам.

— Пошли погуляем, — сказал Дима. — Пока не жарко.

— Уже жарко.

— Пока не совсем жарко.

Они расплатились у кассы. Официантка с клубничной серёжкой пробила чек, и Илья машинально сунул его в задний карман джинсов, где у него всегда скапливались чеки, билеты, проездные и прочие бумажки, которые он никогда не выбрасывал сразу, потому что сразу выбрасывать было как будто неуважительно. На чеке стояло время: тринадцать ноль семь.

Бальзам с запахом арбуза нашёлся в магазине косметики на первом этаже, со второй попытки. Дима за это время успел понюхать шесть пробников мужской туалетной воды и объявить, что все они пахнут одним и тем же человеком, который работает в банке и ненавидит свою работу. Илья расплатился, положил бальзам в другой карман, и они пошли к главному выходу.

У выхода стояли люди.

Сначала Илья не придал этому значения. Люди у выхода из торгового центра стоят всегда: курят, ждут такси, разговаривают по телефону, поправляют пакеты. Но эти стояли внутри, перед стеклянными дверями, и стояли плотнее, чем стоят люди, которым просто нужно выйти. Двери не двигались. Обычно они разъезжались перед каждым, кто подходил ближе чем на два шага, и Илья с детства любил проверять, с какого расстояния они его замечают. Сейчас перед ними стояла женщина с коляской, и двери не замечали ни её, ни коляски.

— Что там? — спросил Дима у мужчины с пакетами.

— Закрыли, — сказал мужчина. — Не выпускают.

— Кто?

Мужчина пожал плечами и показал подбородком на улицу.

За стеклом, метрах в десяти от входа, поперёк тротуара стояли военные. Не трое, как у той машины, а человек восемь, в той же форме, с автоматами, развёрнутые не к торговому центру, а от него, лицом к проспекту. Двое стояли у самых дверей спиной к стеклу. Дальше, у дороги, Илья увидел бетонные блоки, которых утром здесь точно не было, — он проходил мимо. Или не было? Он не был уверен. Он никогда не смотрел на бетонные блоки.

У дверей стоял охранник торгового центра, молодой, в чёрной форме с надписью на спине, и повторял то же самое уже, судя по голосу, в двадцатый раз:

— Выход закрыт. Ждите. Выход закрыт.

— Сколько ждать? — спросила женщина с коляской.

— Не знаю. Мне сказали — закрыть.

— Кто сказал?

— Старший смены.

— А старшему кто сказал?

Охранник посмотрел на неё так, как смотрят люди, которые сами хотели бы задать этот вопрос кому-нибудь, но им некому. Рация у него на плече зашипела, он повернул к ней голову, послушал шипение и снова сказал:

— Ждите.

Вокруг говорили все сразу, и картина из этих разговоров всё время рассыпалась. Кто-то сказал, что учения. Кто-то читал с телефона вслух: «Пишут, газ». Кто-то другой со своего: «Пишут, что террористы». Кто-то третий сказал: «Пишут, что пишут», — и вокруг нервно засмеялись. Высокая женщина в деловом костюме говорила в трубку ледяным голосом, что у неё в два часа встреча, и говорила так убедительно, что Илья на секунду поверил, что двери сейчас откроются перед ней одной. Двери не открылись. Мальчик с отцом ели мороженое и смотрели на военных с таким интересом, как смотрят на аттракцион. Бабушка у стены повторяла: «У меня кот некормленый, у меня кот некормленый», — никому конкретно.

Раздражение пришло раньше страха. Ему не было страшно. Ему было досадно — так бывает, когда рейс задерживают, а табло пишет только «задерживается» и не пишет почему. Кто-то где-то принял решение, от которого зависел его день, и не счёл нужным ничего объяснить. Он был взрослым человеком, у него был паспорт, студенческий, банковская карта, бальзам для мелкой и планы на вечер, и какой-то старший смены, которому кто-то что-то сказал, решил, что он будет стоять у двери.

— Есть второй выход, — сказал Дима. — На парковку.

— Думаешь, там открыто?

— Думаю, стоит проверить, прежде чем сдаваться.

Они пошли через первый этаж, мимо закрытой кофейни, где на двери висела табличка «Перерыв 15 минут» и никто не знал, когда она повешена. У выхода на парковку было то же самое: люди перед неподвижными дверями, охранник с рацией и за стеклом — военные. Один из них, увидев, что люди прижимаются к стеклу, повернулся и сделал рукой короткий жест: назад, отойдите. Лицо у него было не злое. Очень занятое.

— Ладно, — сказал Дима. — Понял.

Илья достал телефон. Сеть была, одна полоска. Лента новостей грузилась и не загрузилась. Мессенджер показывал «Соединение…». Сообщение маме «мам мы в тц тут чё то перекрыли всё норм» ушло с третьей попытки и повисло с одной серой галочкой. Он посмотрел на неё секунд десять, как если бы взглядом можно было дорисовать вторую.

— У тебя ловит? — спросил он.

— Еле-еле. — Дима смотрел в свой телефон. — В чате подъезда кто-то пишет «что за хрень у вокзала». Больше ничего.

— У вокзала?

— Он не уточняет. Это чат подъезда, там никто ничего не уточняет. Там полгода обсуждали, кто ставит велосипед у мусоропровода.

— И кто?

— Так и не выяснили. Система без прозрачности.

Шутка вышла вялой, и оба это заметили, и оба сделали вид, что не заметили. Дима убрал телефон и подошёл к стеклу, рядом с дверями, туда, где начиналась витрина соседнего магазина и из-за рекламной наклейки была видна часть проспекта. Илья встал рядом.

Проспект был пуст. Не так, как бывает пуст рано утром в воскресенье, а так, как будто кто-то аккуратно убрал с него все машины и забыл убрать всё остальное. Светофоры работали: зелёный, жёлтый, красный. Над дорогой висели растяжки с рекламой. Ветер качал тополя. На остановке через дорогу стоял пустой павильон с яркой картинкой. А посреди проезжей части, ближе к дальнему краю, стояли люди.

Их было человек пять или шесть, и они стояли не вместе, а поодиночке, на расстоянии друг от друга, как фигуры, которые кто-то расставил на доске и ещё не решил, как ими ходить. Один мужчина стоял прямо на разделительной полосе. Девушка с рюкзаком — у бордюра. Женщина в ярко-зелёной ветровке с пакетом из продуктового — посреди полосы, и Илья почему-то сразу стал смотреть именно на неё, может быть, из-за цвета.

Сначала ему показалось, что они просто стоят. Смотрят в одну сторону — туда же, куда смотрел человек в рабочей куртке, вдоль проспекта. Потом он заметил, что женщина в зелёном пытается идти. Это было видно по тому, как она двигалась выше пояса: плечи подались вперёд, рука с пакетом качнулась, как качается у человека, который делает шаг. Колено согнулось. А ступня осталась на месте. Женщина качнулась вперёд, назад, снова вперёд, и Илья смотрел на эту ступню в светлой кроссовке и не мог понять, что именно видит. Кроссовка стояла на асфальте, как вклеенная.

— Что с ней? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Дима. — Может, плохо стало.

К женщине бежал военный. Он бежал от бетонных блоков, придерживая автомат рукой, и что-то кричал — через стекло не было слышно что, только видно, как открывается рот. Добежав, он схватил её за плечо и потянул в сторону тротуара. Женщина наклонилась вслед за его рукой всем телом, как наклоняется дерево под ветром, и не сдвинулась.

Девушка у бордюра плакала. Это тоже было видно отсюда: как она закрывает лицо рукой и опускает, закрывает и опускает. Мужчина на разделительной полосе стоял совсем неподвижно, руки по швам, и из-за этого выглядел спокойнее всех, хотя Илья, вглядевшись, понял, что спокойствия в этой позе нет. Так стоят люди, которые сильно замёрзли.

— Им же надо уйти, — сказал Илья. — Почему они не уходят?

Дима не ответил. Он смотрел туда же, вдоль проспекта, куда смотрели люди на дороге, куда смотрел человек в рабочей куртке. Там ничего не было. Перекрёсток, дома, небо, дальние тополя. Воздух над асфальтом немного дрожал от жары.



Из толпы у дверей кто-то сказал: «Может, съёмки?» — и никто ему не ответил.

— Отсюда ничего не видно, — сказал Дима. Голос у него был ровный, но Илья знал этот голос: Дима говорил ровно, когда ему было не по себе. — Надо наверх.

— Куда наверх?

— На крышу. Тут есть выход на крышу, я видел лестницу. За кинотеатром, служебная.

— Нас оттуда выгонят.

— Может, выгонят. — Дима повернулся к нему. — Илюх. Нам ничего не говорят и ничего не показывают. Я хочу хотя бы посмотреть. Если выгонят — спустимся.

Илья подумал о старшем смены, об охраннике с рацией, о табличке «Посторонним вход воспрещён», которую он видел в детстве на каждой второй двери и которая до сих пор вызывала у него какой-то школьный рефлекс, будто за этой дверью обязательно сидит завуч. Потом подумал о женщине в зелёном, которая раскачивалась посреди дороги, как неваляшка. Неизвестность оказалась тяжелее завуча.

— Пошли, — сказал он.

Служебная лестница была за кинотеатром, в коротком коридоре, где пахло попкорном и хлоркой. Дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещён» была подпёрта огнетушителем. Кто-то прошёл здесь раньше них. Дима пожал плечами: не мы первые.

Лестница была бетонная, узкая, с зелёными перилами, краска на которых облезла ровно там, где за них держатся руки. Они поднимались быстро, не разговаривая. На третьей площадке у стены сидел мужчина в белой рубашке с бейджем на шнурке, какой-то менеджер, наверное, и держался руками за голову. Он поднял глаза, когда они проходили, посмотрел сквозь них и опустил голову обратно. Илья хотел спросить, всё ли в порядке, и не спросил, потому что было понятно, что не всё, и было непонятно, что с этим делать.

Наверху лестница кончалась железной дверью. Дверь была открыта на ладонь, и в щель бил белый свет, такой яркий после полутёмной лестницы, что Илья на секунду зажмурился. Оттуда тянуло горячим воздухом, битумом и ветром. И ещё оттуда доносился голос — мужской, короткий, отрывистый, как будто кто-то диктовал цифры.

Дима взялся за ручку, посмотрел на Илью и толкнул дверь.

Глава 2. Крыша

Крыша оказалась огромной и совершенно плоской, залитой чёрным битумом, который на солнце размяк и лип к подошвам. По ней, как брошенные кубики, были расставлены серые короба вентиляции и белые блоки кондиционеров, гудевшие ровно и равнодушно. Вдоль края тянулся низкий бетонный парапет, по колено, не выше. Ветер здесь был сильнее, чем внизу, горячий, с запахом разогретой смолы, и после бетонной лестницы Илье сначала показалось, что он вышел не на крышу, а в какое-то отдельное небо, где всё слишком светлое и слишком близкое.

У парапета, со стороны проспекта, стояли трое военных. Один, невысокий, с обгоревшей на солнце шеей, держал у рта рацию и говорил в неё короткими словами, почти не разжимая губ. Второй смотрел в бинокль. Третий стоял чуть в стороне, у будки выхода на соседний блок, и смотрел вниз, на улицу, держа автомат обеими руками. Кроме них, на крыше были ещё люди: женщина в фартуке кофейни, девушка с яркими волосами и пожилой мужчина в панаме, — видимо, те, кто подпёр огнетушителем дверь. Все трое стояли у вентиляционного короба, подальше от края, и никто не разговаривал.

Военный с рацией обернулся на скрип двери. Посмотрел на Илью, на Диму, на руки у них, на лица. Он не спросил, кто они и что здесь делают. Он сказал:

— К краю не подходить. Стоять там.

И отвернулся.

Илья приготовил вежливую разумную фразу про то, что внизу ничего не видно. Она не понадобилась. Военному было не до них, и это оказалось хуже любого окрика.

— Двести восемьдесят, — сказал военный в рацию. — Скорость прежняя.

Они встали у короба, рядом с женщиной в фартуке. Отсюда проспект был виден весь, в обе стороны, как на карте: прямой, широкий, с зелёными полосами газонов посередине, с перекрёстком справа, где он упирался в поперечную улицу и уходил за угол пятиэтажки. Слева, далеко, он терялся в тополях. За краем города синели горы — те самые, которые Илья видел с детства из окна кухни и никогда не замечал — как обои.

Люди на дороге стояли там же, где он видел их через стекло. Сверху они казались меньше и беззащитнее, и расстановка стала понятнее: они растянулись по проезжей части неровной цепочкой, человек шесть, и все были обращены лицом в одну сторону — к перекрёстку. Женщина в зелёной ветровке. Девушка с рюкзаком у бордюра. Мужчина в клетчатой рубашке на разделительной полосе. Подросток в белых наушниках. Ещё двое дальше, ближе к перекрёстку, — их Илья не мог разглядеть. Возле женщины в зелёном по-прежнему был солдат. Он уже не тянул её, а стоял рядом, держа за плечо, и что-то говорил ей в самое ухо, наклонившись, как говорят с человеком, который плохо слышит.

Дима остался у короба. Илья сделал два шага к парапету, остановился в метре от края и понял, что дальше не пойдёт, хотя никто его не останавливал. Он оглянулся. Дима стоял, прижавшись плечом к серой жести вентиляции, и смотрел на проспект с таким лицом, какое у него бывало в детстве на колесе обозрения, куда их однажды затащили родители: будто всё под контролем и он просто очень внимательно изучает ржавчину на болтах.

— Двести пятьдесят, — сказал военный с рацией.

— Двести пятьдесят чего? — тихо спросил Илья, ни к кому не обращаясь.

Женщина в фартуке покачала головой. Она не знала. Никто не знал. Цифры уменьшались.

— Метров, — сказал Дима. — Он считает метры.

— До чего?

Дима не ответил, потому что ответа не было. Илья посмотрел туда, куда смотрели люди на дороге, куда смотрел человек в рабочей куртке, которого увезли, куда смотрел военный с биноклем. Перекрёсток. Светофор. Угол пятиэтажки с магазином на первом этаже и вывеской, которую отсюда нельзя было прочитать. Тополя. Небо. Ничего.

Девушка у бордюра вдруг побежала. Это было так неожиданно, что Илья вздрогнул. Она сорвалась с места сразу, без разгона, бросила рюкзак и побежала к тротуару, к бетонным блокам, к солдатам, и солдат у блоков поймал её, развернул и толкнул дальше, к жилому дому, и она исчезла в темноте подъезда. Значит, можно. Значит, они могут. Илья повернулся к женщине в зелёном, ожидая, что она сейчас тоже побежит. Она не побежала. Она раскачивалась, опираясь на руку солдата, и её ступня по-прежнему стояла на асфальте, будто принадлежала не ей, а дороге.



— Двести, — сказал военный с рацией.

Из-за угла пятиэтажки выдвинулось что-то светлое.

Сначала Илья решил, что это фура. Длинный бледный борт, выползающий из-за дома, — так выглядит фура, когда поворачивает на узкой улице, медленно, в несколько приёмов. Мысль была спокойная и даже облегчённая: ну вот, фура, сейчас всё объяснится, военные перекрыли дорогу под какую-то технику, под какой-то груз, отсюда и цифры. Потом он заметил, что у фуры нет кабины. Передний край борта был не прямой, а скруглённый, и поворачивал он не так, как поворачивает машина, а так, как поворачивает рука, когда ведёшь ею по столу: вся сразу и одновременно по частям.

Тогда он решил, что это тент. Огромный белый тент на каком-то каркасе, который тянут за угол, и тент надувается ветром и опадает. Потому что поверхность двигалась. Она не стояла ровно, как металл, она шла медленной волной от переднего края назад, подбиралась и снова вытягивалась. Но у тента не бывает такого цвета. Тент белый, а это было не белым. Это светилось. Посреди полуденного солнца, в самой яркой точке дня, бледная поверхность светилась изнутри тусклым, неровным светом, пятнами, как светится рука, если прижать к ладони вклю-

чённый фонарик. Сквозь неё ничего не было видно, но свет шёл из глубины, и в одних местах был сильнее, в других слабее, и пятна эти медленно перемещались вместе с волной.

Потом он решил, что это труба. Кто-то тащит огромную трубу, для теплотрассы, для газа, — он видел такие трубы на трассе, на длинных прицепах. Но труба не может выгибаться.

Он перебирал эти слова — фура, тент, труба, — как перебирают ключи на связке перед незнакомой дверью, и ни один не подходил. Мозг хотел название. Без названия он отказывался принимать то, что видели глаза.

Передний край вышел из-за угла полностью и развернулся вдоль проспекта. И тогда Илья увидел, что это голова.

Точнее, не голова. Слова для этого не было. Это был передний конец чего-то очень длинного, и этот конец был открыт. Он был открыт так, как открыта арка, — не как рот, который открыли и сейчас закроют, а как вход, который так построен. Нижний край лежал на асфальте. Не касался, не скользил над ним — лежал, широкий и плоский, во всю ширину проезжей части, от бордюра до бордюра, и продвигался вперёд, сдирая с дороги пыль, мелкий мусор, пластиковую бутылку, окурки. А верхний край поднимался над ним высокой дугой, выше фонарных столбов, почти до окон третьего этажа, и между ними, внутри этой дуги, была темнота. Не чернота, а темнота с зеленоватым отсветом, как бывает в глубине колодца, если туда уронили включённый телефон.

По краю арки, по всей её кромке, торчали наросты. Илья видел их отчётливо, даже отсюда: тёмные, длинные, неровные, одни загнутые внутрь, другие торчащие наружу. Шипы. Или зубы. Они стояли не рядами, как зубы у животного, а как попало, и от этого было ещё хуже, потому что зубы у животного хотя бы понятно зачем. Сверху, с самой высокой точки дуги, стекала жидкость. Она сочилась густыми светящимися каплями, ярко-зелёными, как фосфор на циферблате старых часов, и капли падали вниз ровной дугой, одна за другой, не прерываясь, и там, где они касались асфальта, асфальт тоже начинал светиться — пятнами, которые медленно гасли уже позади.

В детстве, лет в шесть, Илью возили в цирк в Кисловодск. Он не помнил ни клоунов, ни львов, ни акробатов. Помнил только вход — огромную арку с лампочками по краю, за которой было темно и оттуда пахло опилками и чем-то звериным, и как отец держал его за руку, а он не хотел идти внутрь, потому что внутри было темно, а все шли. Это воспоминание всплыло сейчас целиком, с запахом, с отцовской рукой, и Илья почувствовал, как у него холодеют пальцы. Вход. Это был вход.

— Это что… — начал Дима и не закончил.



Илья не обернулся. Он не мог отвести глаз. Звука не было. Вернее, звук был, но не тот. Существо не рычало, не ревело, не шипело. Слышно было, как где-то зашёлся сигнализацией

автомобиль. Как хрустнул и лёг на асфальт дорожный знак, которого коснулся бок, — коротко и жестяно, как пустая банка из-под газировки под ботинком. И ещё был звук, от которого у Ильи свело челюсть: ровный, долгий, шершавый скрежет, с которым нижний край полз по асфальту. Этот звук Илья знал. Так зимой по утрам дворник скребёт лопатой тротуар под окнами, и ты просыпаешься в темноте и лежишь, и слышишь: шшшкрр, шшшкрр. Только сейчас скрежет не прерывался. Он шёл одной бесконечной нотой.

— Сто пятьдесят, — сказал военный с рацией. Голос у него не изменился. — Контакт. Повторяю, контакт.

Внизу закричали солдаты. Теперь было слышно — ветер доносил обрывки: «Уходи!», «Назад!», «С дороги!» Они кричали людям на проезжей части, всем сразу, и махали руками, и один побежал к мужчине на разделительной полосе, и мужчина стоял, руки по швам, и смотрел на арку, и лицо у него было такое, что Илья, даже с крыши, даже с сотни метров, не смог на это лицо смотреть и перевёл глаза.

Кто-то начал стрелять.

Выстрелы были совсем не похожи на кино. Сухие, короткие, негромкие хлопки: так ломают через колено доски. Стреляли с блоков, стреляли от подъезда, стрелял третий военный на крыше, у будки, — Илья увидел, как у него дёргается плечо. Пули, наверное, попадали. Илья не видел, куда они попадают. Он видел, как по бледной светящейся поверхности пробегают крошечные вспышки, как рябь по воде от горсти песка, — и ничего не менялось. Волна шла по телу так же. Край арки полз так же. Капли падали так же.

Мужчина на разделительной полосе исчез первым.

Илья видел это от начала до конца и всё равно не смог бы пересказать, что именно видел. Нижний край арки дошёл до мужчины и не ударил его, не сбил, не толкнул. Край просто подполз под него, под его ботинки, как лопата подползает под снег, и мужчина оказался стоящим на этом плоском широком крае, внутри арки, под зелёной дугой, освещённый снизу зелёным светом. Он стоял. Он даже не упал. Секунду, может быть, две Илья видел его там — маленькую фигуру в клетчатой рубашке внутри огромного входа, — а потом арка продвинулась дальше, и мужчины на дороге не было.

Не было ничего. Ни крика, ни брызг, ни движения челюстей. Челюсти не двигались. Арка не закрывалась. Она просто ползла дальше, с тем же скрежетом, и на том месте, где стоял человек, лежал чистый асфальт с белой разделительной полосой.

Илья ждал удара. Всё его тело ждало хруста, крика, крови — тело видело тысячи роликов и знало, как это выглядит. Удара не было. Под рёбрами образовалась пустота, как бывает, когда в темноте нога ищет ступеньку, а ступеньки нет.

— Куда? — сказал Дима.

Он сказал это тихо, почти спокойно, и Илья понял, что это не вопрос к нему. Это был вопрос вообще. Куда делся человек. Куда он делся.

Илья не ответил. Впервые с первого класса Дима задал ему вопрос, а у него не нашлось ничего — ни шутки, ни версии, ни даже «не знаю».

Подросток в белых наушниках исчез следом. Потом двое у перекрёстка — Илья не видел как, просто в какой-то момент понял, что их больше нет. Арка шла вдоль проспекта ровно посередине, и всё, что стояло на её пути, оказывалось внутри. Светофор на её пути не стоял — он был на тротуаре, — и она его обошла, вернее, тело прошло рядом, и светофор качнулся, но остался. Брошенная машина на обочине осталась. Бетонные блоки остались. Она забирала только тех, кто стоял посреди дороги. Только тех, кто не мог уйти.

Солдат рядом с женщиной в зелёном не уходил.

Арка была от них метрах в тридцати. Двадцати. Другой солдат, от блоков, кричал ему так, что было слышно даже через скрежет, — фамилию, наверное, одно короткое слово, снова и снова. Солдат обернулся на крик. Илья видел, как он повернул голову, как посмотрел на

арку, как посмотрел на женщину. Потом он обхватил её обеими руками поперёк туловища и потянул, изо всех сил, откинувшись назад всем телом, упираясь каблуками в асфальт, и женщина наклонилась вслед за ним, как столб, который пытаются выдернуть из земли, — и не сдвинулась. Ступня стояла.

Он мог отпустить. Было ещё время, секунды три, может, четыре. Илья смотрел на его руки и мысленно кричал ему: отпусти. Отпусти, беги. Солдат не отпустил. Край арки подполз под них обоих, и Илья успел увидеть, как они стоят внутри, под зелёной дугой, — женщина в ярко-зелёной ветровке с пакетом из продуктового, и солдат, который держит её за плечо, держит, не отпуская, — а потом арка прошла, и их не было, и пакета не было, и на асфальте ничего не лежало.



Рядом кто-то всхлипнул. Женщина в фартуке. Она закрыла рот обеими руками и стояла так, и плечи у неё дёргались.

Военный с рацией перестал считать метры. Он говорил теперь что-то другое, быстро, неразборчиво, и в его голосе впервые появилось что-то живое — не страх, а злость, упрямая, бессильная злость человека, который делает свою работу, и работа не получается. Потом он сказал громко, не в рацию, а третьему, у будки:

— Ложись!

Третий упал за парапет. Илья не успел понять зачем — его толкнули в спину, это был Дима, и Илья упал на колени на мягкий горячий битум, и в ту же секунду где-то внизу гулко ударило, так, что крыша дрогнула под ладонями и у кондиционеров задребезжали решётки. Над парапетом поднялся столб серой пыли и дыма, медленный, клубящийся, и закрыл проспект.

Они стояли на коленях за вентиляционным коробом, плечом к плечу, и смотрели, как оседает пыль. Илья надеялся — тупо, отчаянно, — что сейчас пыль уляжется и там будет лежать разорванное, мёртвое. Что взрослые люди с оружием сделали то, что должны были сделать.

Сквозь пыль проступили фонари. Потом деревья на газоне. Потом бледный свет, ровный, изнутри.

Тело шло по проспекту. С той же скоростью, с той же волной. На боку, там, куда, наверное, попали, не было ни раны, ни дыры, ни копоти. Только сильнее, может быть, светилось одно пятно. А может, так казалось.

Дима рядом выдохнул сквозь зубы — длинно, со свистом.

Передний край дошёл до перекрёстка и начал поворачивать.

Он ушёл за угол пятиэтажки на той стороне, и скрежет отдалился. Илья выдохнул. Всё. Сейчас пройдёт хвост, и можно будет спуститься.

Тело продолжало идти.

Оно шло по проспекту мимо торгового центра, светящееся, бледное, сегментированное, и уходило за угол, и новые его части выходили из-за угла на другом конце, откуда появилась голова. Илья поднялся на ноги. Военный с рацией стоял у парапета, опустив руку, и просто смотрел. Он больше не стрелял. Никто больше не стрелял.

Илья посмотрел на телефон. Тринадцать тридцать четыре. Он запомнил цифры, потому что ему нужно было что-то запомнить, за что-то уцепиться, и начал ждать.

Он ждал хвоста, как ждёшь последнего вагона на переезде. Вагоны шли. Бледные сегменты, один за другим, с одинаковой волной, с кривыми шипами вдоль спины. Свет внутри перетекал пятнами. Было только низкое шуршание, с каким тянут по асфальту брезент, и ещё какой-то звук, который Илья распознал не сразу: во всех окнах вдоль проспекта тихо дрожали стёкла.

В тринадцать тридцать девять он посмотрел снова. Тело шло.

У будки выхода третий военный, тот, что стрелял, сел на битум спиной к стене, положил автомат на колени и опустил голову. Потом его вырвало, коротко, в сторону, и он вытер рот рукавом и снова сел, как сидел. Никто ничего ему не сказал.

Девушка с яркими волосами снимала на телефон, и руки у неё не дрожали, и лицо было пустым. Пожилой мужчина в панаме что-то беззвучно говорил одними губами. Женщина в фартуке смотрела вниз зло, как на обидчика, которого нельзя ударить.

Дима поднял телефон, навёл камеру на проспект, подержал секунд пять и убрал, не нажав на запись. Илья не спросил почему.

В тринадцать сорок три тело шло.

Голова сама взялась считать, как чихают. Допустим, как человек идёт. Пять километров в час. Девять минут. Три четверти километра живого тела. Он попробовал представить километр — дорогу от дома до школы — и голова перестала считать, как калькулятор, в который ввели слишком большое число. В голове было «Е».

Монро бы посчитал, подумал он. У Монро была бы формула. Потом подумал, что Монро никогда такого не видел, и никто не видел, и формул для этого нет. Мысль была настолько детской и настолько бесполезной, что Илья чуть не засмеялся, и испугался этого почти-смеха больше, чем всего остального.

Ворона села на спину.

Обычная серая ворона, городская, такая, каких полно на любой помойке. Она спланировала откуда-то с тополя и села на бледную светящуюся спину между двумя наростами, сложила крылья и поехала. Просто поехала, покачиваясь на волне, вертя головой, как ездят вороны на крыше трамвая. Проехала так метров двадцать, потом что-то ей не понравилось, она каркнула, тяжело снялась и улетела обратно на тополь. Илья смотрел на неё, пока она не скрылась в листве, и ему казалось, что это самое страшное, что он видел за весь день, хотя он понимал, что это не так.

— Илья, — сказал Дима.

— Вижу.

— Ты не туда смотришь. Внизу. У аптеки.

Илья посмотрел. На той стороне проспекта, на первом этаже жилого дома, была аптека с зелёным крестом над входом, и в её дверях, в тёмном проёме, стоял человек. Солдат. Один из тех, что были у блоков. Илья не видел, когда он туда забежал, — наверное, когда арка проходила мимо. Тело шло в двух метрах от дверей, светящееся, огромное, и солдат стоял в проёме, вжавшись спиной в дверной косяк, и не двигался, и тело проходило мимо него, мимо, мимо, и не трогало.

— И вон там, — сказал Дима. — В яме.

Дальше по проспекту, ближе к перекрёстку, у тротуара была разрыта земля. Ремонт, наверное, теплотрассы или водопровода — Илья видел эту яму утром, её огородили сетчатым забором, забор теперь лежал на газоне, смятый. В яме, в траншее, над краем виднелась голова. Человеческая голова в оранжевой каске и плечи в оранжевом жилете. Рабочий. Он сидел в траншее, вцепившись руками в её край, и тело шло над краем траншеи, над ним, прямо над ним — Илья видел, как бледный бок нависает над ямой, — и человек в оранжевом был там, внизу, и был жив.

— Тот в яме остался, — сказал Илья. Это были первые слова, которые он произнёс за… он не знал за сколько. Голос был чужой, хриплый.

— И тот в дверях.

— Значит, можно… — Илья не договорил. Можно что? Можно спрятаться? Можно выжить? Он видел двух человек, которые остались. Он видел ещё шестерых, которые не остались. Двое из восьми — это не правило. Это не статистика. Это просто двое.

— Значит, можно, — повторил Дима, и Илья понял, что Дима думает то же самое: что это не правило и не статистика и что за это всё равно хочется держаться.

Потом Илья перестал смотреть на часы. Время мерялось телом, которое идёт. Военный с рацией говорил в неё монотонно, и Илья разбирал слово «длина» и слова «не видим» и больше ничего.

Он думал о маме. Мысль пришла не как мысль, а как толчок, будто кто-то тронул его за локоть. Мама. Дома? Она говорила утром, что будет дома, что с утра займётся капустой на голубцы, что к обеду придёт мелкая из школы. Отец на работе. Где у отца работа? Далеко отсюда? Он вдруг не смог сразу вспомнить, в какой стороне от проспекта дом, и это напугало его больше всего остального. Налево. Налево и вниз, к реке. Он знал. Он просто на секунду забыл.

Он достал телефон. Одна полоска. Сообщение маме висело с одной серой галочкой, как висело. Он нажал вызов. Гудков не было. Была тишина, потом короткий сигнал, потом «вызов завершён». Он нажал ещё раз. Тишина. Сигнал. Завершён.

— У меня тоже, — сказал Дима, не глядя. Он держал телефон у уха. — Ничего.

Тело шло.

Потом Илья заметил, что оно становится тоньше. Спина стала ниже, шипов меньше, свет внутри — реже, отдельными гаснущими точками. Он снова посмотрел на телефон. Тринадцать пятьдесят четыре. Он не поверил и посмотрел ещё раз: ему казалось, что прошло не меньше часа.

Из-за угла в дальней части проспекта выполз конец тела. Он был тупой, скруглённый, без всякого хвоста, просто обрывался, как колбаса, — Илья подумал именно это, дурацкое, бытовое слово «колбаса», и не смог его отогнать. Конец полз по проспекту мимо торгового центра, мимо аптеки, где в дверях всё ещё стоял солдат, мимо ямы, где всё ещё сидел рабочий в оранжевой каске, мимо того места, где стояла женщина в зелёном, — и дошёл до перекрёстка, и повернул, и ушёл за угол.

И всё.

Проспект был пуст. Вдоль него, по самому центру, тянулась бледная влажная полоса, как после поливальной машины, и на ней кое-где догорали зелёные пятна. Светофор мигал жёлтым. Сигнализация машины на обочине всё ещё выла — Илья только сейчас понял, что она выла всё это время.

Солдат вышел из дверей аптеки. Постоял на тротуаре, огляделся, потом медленно сел прямо на ступеньку и закрыл лицо руками. Из ямы у перекрёстка выбрался рабочий в оранжевом. Он вылез наполовину, упёрся руками в край и так и остался — наполовину в яме, наполовину снаружи, — будто забыл, как вылезают.

Там, где стояла женщина в зелёной ветровке, был асфальт.

Илья нашёл это место точно: вон тот столб, вон трещина, вон белая стрелка на полосе. Там стояла женщина с пакетом из продуктового, в светлых кроссовках. Там стоял солдат, который её не отпустил. Там ничего не лежало. Ни пакета, ни кроссовки. Ни одного яблока из пакета.

Он хотел что-то сказать и не знал что. Он повернулся к Диме. Дима стоял, прислонившись к коробу вентиляции, с телефоном в опущенной руке, и лицо у него было серое, незнакомое, будто его вырезали из бумаги и приклеили на место настоящего лица.

— Дим, — сказал Илья.

Дима посмотрел на него. Долго, секунды три.

— Мне надо домой, — сказал он.

— Мне тоже.

Глава 3. Воронка

Военный с рацией остановил их у двери. Не рукой — голосом, коротким, как в первый раз.

— Куда?

— Домой, — сказал Илья.

Военный посмотрел на них внимательно, теперь уже по-настоящему. У него были светлые, выгоревшие на солнце брови и красная полоса на шее от воротника, и он был старше, чем Илье показалось сначала, лет сорока пяти. Он хотел что-то сказать, и Илья видел, что ему неудобно — так бывает, когда говоришь вещи, в которых сам не уверен.

— Если увидите его, — сказал военный, — в здание. В подъезд, в магазин, в любую дверь. Если нет двери — в яму. В канаву, в траншею, куда угодно, где ниже земли. Я видел, как один в траншее остался.

— Мы тоже видели, — сказал Дима.

— Ну вот. — Военный помолчал. — И главное, не стойте. Кто стоял — тех… — Он не договорил и махнул рукой в сторону проспекта. — Не стойте. Всё, идите.

Он отвернулся к парапету, поднёс рацию ко рту, и они пошли вниз.

На лестнице пахло как обычно — краской и сигаретами, — и Илье это показалось диким. Он спускался, держась за перила ровно там, где облезла краска, и колени дрожали сами по себе, отдельно от него.

Двери главного входа стояли раскрытые настежь. Охранник больше ничего не повторял, стоял у стены и смотрел на проспект. Мужчина с пакетами громко, на весь холл, спрашивал, кто ему заплатит за сорванную сделку. Высокая женщина в деловом костюме сидела на скамейке у эскалатора, поставив сумку на колени; встречу на два часа она, видимо, отменила. Из чьего-то телефона у окна донёсся знакомый скрежет, шшшкрр, и Илья ускорил шаг. Бабушка с некормленым котом стояла у двери, держась за косяк, и не выходила. Там, за дверью, было открытое пространство.

На крыльце он достал телефон. Полоска была одна, как и раньше, иногда пропадала совсем. Он нажал вызов. Маме.

«Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети».

Он нажал отцу. Длинные, настоящие гудки. На девятом связь оборвалась. Но гудки были. Значит, телефон включён. Значит, отец просто не слышит. На совещании. За рулём. Телефон в куртке, куртка на стуле.

Он набрал мелкую. Короткие гудки. «Абонент занят».

Занят. Мелкая с кем-то говорит. Если она говорит, значит, она может говорить. Он поймал себя на том, что улыбается, криво. Мелкая всегда кому-нибудь звонит.

— Моя сестра занята, — сказал он Диме. — Короткие гудки.

— Это хорошо, — сказал Дима. — Это значит, она с кем-то говорит.

— Вот и я так думаю.

— У меня никто. — Дима смотрел в телефон. — Маме — тишина. Отцу — тишина. Сестре написал. Одна галочка.

Он показал экран. Илья увидел верх переписки — фотографию какого-то кота, которую Димина сестра прислала утром, и под ней сообщение Димы: «вы где? вы дома? не выходите никуда». Одна серая галочка.

— Сейчас дойдёт, — сказал Илья.

— Сейчас дойдёт, — согласился Дима, и оба знали, что это ничего не значит.

Они спустились с крыльца. Бледную полосу посреди проспекта люди обходили, не сговариваясь. Она подсыхала по краям, как след огромной улитки, и пахла влажно и тяжело, как

пахнет в подвале, где давно не проветривали. Где-то за домами выли сирены, одна и другая, не совпадая по тону, как перекликаются через дворы собаки.

На перекрёстке они остановились. Им надо было в разные стороны, и оба знали это ещё на крыше, ещё когда Дима сказал «мне надо домой». Илье налево и вниз, к реке, через парк, минут двадцать быстрым шагом. Диме — направо, через переезд, за железную дорогу, на ту сторону, где стояли его девятиэтажки. Минут сорок, если без автобуса. Автобусов не было.

— Туда же поползло, — сказал Дима и кивнул в сторону, куда ушёл хвост. — Не к тебе, не ко мне. Туда.

— Ага.

— То есть нам обоим не туда.

— Ага.

Они стояли и тянули время, как стояли на этом перекрёстке сотню раз после школы, когда разговор не заканчивался и мама звонила спросить, где он, а он отвечал «иду» и не шёл. Разговор и сейчас не заканчивался. Он просто не начинался.

— Может, вместе? — сказал Илья. — Сначала ко мне, потом к тебе.

— Час потеряем, — сказал Дима. — Даже больше.

— Знаю.

— Я не могу час. Там мама.

— Знаю. Я тоже.

Они помолчали. Светофор на перекрёстке мигал жёлтым, мигал и мигал и тоже ничего не мог решить.

— Позвони, как дойдёшь, — сказал Дима. — Сразу. Это требование.

— Принято в работу.

Дима фыркнул. Не засмеялся — фыркнул, коротко, как фыркал на уроках, когда Илья шёпотом говорил что-нибудь, от чего нельзя было не фыркнуть. Лицо у него на секунду стало обычным. Потом снова серым.

— И голубцы, — сказал Илья. — Мама ждёт. В семь.

— Если голубцы отменят, подам в суд.

— Не отменят. Мама голубцы не отменяет. Мама голубцы отменила один раз, в две тысячи двадцатом, и потом извинялась полгода.

— Помню. Я тогда думал, это начало апокалипсиса.

Они оба услышали, что сказали, и оба замолчали. Дима отвёл глаза.

— Ладно, — сказал он. — Иди.

— Иди.

Никто не двинулся с места.

— Илюх. Не стой, — сказал Дима. — Он сказал — не стоять.

Илья хотел ответить что-нибудь, какую-нибудь глупость, которая всё бы поправила, и не нашёл. Он хлопнул Диму по плечу, неловко, сильнее, чем собирался, и Дима хлопнул его в ответ, и они разошлись. Илья налево, Дима направо.

Через двадцать шагов Илья обернулся. Дима тоже обернулся — в ту же секунду, как будто они договорились. Они посмотрели друг на друга через перекрёсток, через мигающий светофор и пустую дорогу с бледной полосой посередине. Дима поднял руку. Илья поднял руку. Потом Дима повернулся и пошёл быстрее, почти побежал, и скрылся за углом.

Дальше Илья шёл один.

Сначала это было не страшно, а странно. Цветочный ларёк был открыт, в нём стояли вёдра с пионами. Во дворе пятиэтажки женщина в халате выбивала ковёр, и звук выбивалки разносился гулко и ровно. Мимо проехал мальчишка на самокате, в наушниках. Весь этот квартал ничего не видел. Для них был обычный вторник, с сиренами где-то вдалеке.

Потом он вышел на улицу, где не было никого. Совсем никого. На обочине стояла машина с распахнутой водительской дверью, и в замке зажигания торчал ключ, и было слышно, как тихо играет радио, какая-то попса, весёлая и бессмысленная. На ключе качался брелок в виде плюшевого медведя. Илья прошёл мимо, не останавливаясь.

Он заметил, что делает, только через несколько кварталов. Он оценивал. Каждый дом, мимо которого шёл, каждый двор, каждый проход. Подъезд — есть, дверь железная, открыта? Закрыта, домофон. Плохо. Магазин — есть, дверь стеклянная, внутрь можно. Хорошо. Подвальное окно — узкое, не пролезешь. Двор — открытый, ничего. Плохо. Детская площадка — горка с домиком, домик пластиковый. Не то. Люк канализации. Можно? Не открыть. Он шёл и раскладывал город на «можно» и «нельзя», на укрытия и открытые места, и раскладывал так быстро и так естественно, будто занимался этим всю жизнь. Улица, которую он помнил как улицу с хорошей шаурмой и с деревом, на которое они с Димой лазили в третьем классе, теперь была улицей, где на двести метров ни одной открытой двери.

Дима бы сказал: «Ты сейчас проводишь риск-оценку жилого фонда». Илья почти услышал это и даже повернул голову, чтобы ответить. Справа никого не было. Шутка повисла, как сообщение с одной серой галочкой.

Он достал телефон. «Нет сети». Совсем. Даже одной полоски. Он убрал телефон и пошёл быстрее.

Парк начинался за перекрёстком. Если идти в обход, по улице, выходило минут на десять дольше. Если через парк — напрямую, наискосок, по центральной аллее, мимо фонтана, — выходило прямо к его улице. Он ходил через этот парк тысячу раз. Здесь они с Димой запускали ракету из пластиковой бутылки, и ракета улетела на крышу летнего кафе, и сторож гонялся за ними до самого выхода.

Илья стоял у входа в парк и видел его впервые.

Парк был плоский. Совершенно плоский, как стол. Газоны, ровные, подстриженные. Молодые деревья, посаженные рядами, — тонкие, с подпорками, не толще руки. Старых деревьев было мало, и они стояли далеко друг от друга. Аллеи, выложенные плиткой. Скамейки. Сухой фонтан в центре, неглубокая чаша, по колено. Детская площадка с резиновым покрытием. Летнее кафе — лёгкий павильон из стекла и пластика, закрытый. И ни одного здания. Ни одной ямы. Ни одного подъезда, ни одной канавы, ни одной траншеи. Он искал глазами, машинально, и не находил. Парк, в котором он провёл полдетства, был идеальным местом, чтобы стоять посреди открытого пространства и ждать.

Он подумал: в обход. Десять минут дольше.

Десять минут. Мама недоступна. Мелкая занята. Отец не берёт трубку.

Он пошёл через парк.

Он не побежал: если бежать, через пять минут не останется сил для рывка. Мысль была разумная, и он ей обрадовался — первая разумная мысль за час. У одной скамейки лежал на боку детский велосипед с розовыми ленточками на руле, и заднее колесо тихо крутилось от ветра. Илья заставил себя отвернуться.

Он дошёл до фонтана, когда услышал крики.

Сначала далеко, на том конце парка, в той стороне, куда он шёл. Не один голос — много, разные, мужские и женские, и они не кричали слова, они просто кричали. Потом он увидел людей. Они выбегали на центральную аллею с боковых дорожек, из-за деревьев, со стороны его улицы, и бежали к нему. Человек двадцать, тридцать. Бежали некрасиво, размахивая руками, спотыкаясь, — так бегут, когда уже ничего не соображают. Женщина с ребёнком на руках. Старик, который всё время оглядывался. Женщина упала — споткнулась о бордюр и упала на плитку, всем телом, — и кто-то перепрыгнул через неё, не останавливаясь, а кто-то другой остановился и поднял её за руку, и они побежали дальше вместе.

Илья стоял и смотрел, и всё ещё не понимал, от чего они бегут.

Потом он увидел свет.

За деревьями, там, откуда выбегали люди, над кронами, над тонкими молодыми липами, поднималась бледная дуга. Она светилась в полуденном солнце тусклым неровным светом, и с её верхней точки ровной струёй падали вниз зелёные капли.

Скрежета не было слышно, потому что под ней была не дорога, а газон.

Илья почувствовал, как у него тяжелеют ноги. Это было самое странное, что он чувствовал в жизни. Не слабость, не усталость — тяжесть, будто кто-то налил ему в кроссовки свинец. Правая нога — он хотел шагнуть, шагнуть назад, прочь, — правая нога не двигалась. Он посмотрел на неё. Она стояла на плитке. Колено согнулось, как у женщины в зелёной ветровке, корпус подался вперёд, а ступня стояла.

Нет, подумал он. Нет, нет, нет.

Он не знал, откуда пришло то, что пришло следом. Может быть, из той разумной мысли про силы для рывка. Может быть, из голоса военного на крыше: «Не стойте». Может быть, из Диминого «Илюх, не стой», сказанного на перекрёстке, — просто так, на прощание, между делом. Он не думал. Он дёрнул ногу вверх всем телом, как выдёргивают сапог из глины, изо всех сил, с каким-то рыком, которого сам от себя не ожидал, — и нога оторвалась от плитки. Тяжело, неохотно, но оторвалась. Он чуть не упал. Шагнул. Ещё шагнул. Тяжесть уходила, стекала из ног вниз, в землю, и через три шага он уже бежал.

Он бежал не туда. Он понял это не сразу. Он бежал назад, к входу, откуда пришёл, — прочь от света, — но вход был далеко, и там была улица, открытая и пустая, и там не было ничего. Бегущие люди обгоняли его, толкали, кто-то задел его плечом. Он оглянулся. Дуга была ближе. Уже не над деревьями — между ними. Молодые липы с подпорками ложились под её краем, как трава.

Здание. Яма. Где ниже земли.

Он вспомнил.

Две недели назад в городском чате все обсуждали прилёт. Ночью, около трёх, беспилотник попал в электрощитовую на краю парка — в маленькую кирпичную будку за сетчатым забором у дороги, откуда, говорили, запитан весь квартал. Полрайона сидело без света до утра. Утром люди ходили смотреть, фотографировали через забор: разбитую стену будки, почерневший кирпич и рядом, у забора, воронку в земле. Её огородили красно-белой лентой. Мама прислала ему в Краснодар фотографию, с подписью «вот, у нас тут тоже», и он ответил «ппц, вы там аккуратнее», и больше об этом не думал. Воронка. Метра полтора глубиной, может, два. Илья видел её на фотографии: рыжая глина, осколки кирпича, торчащий обрывок кабеля.

Электрощитовая была справа. За детской площадкой, за полосой газона, у дороги.

Он развернулся и побежал вправо. Прямо по газону, наискосок, мимо детской площадки, где на резиновом покрытии стояли пустые качели, мимо лавочки, через клумбу — под ногами хрустнули какие-то цветы. Кто-то кричал ему вслед, он не разобрал что. Он не оглядывался. Он знал, что если оглянется, то ноги снова станут тяжёлыми.

Забор оказался ближе, чем он думал, и выше — сетка-рабица, выше головы, натянутая на столбы. Часть сетки у будки была смята и повалена, наверное, с того самого прилёта, и через этот пролом тянулась красно-белая лента. Илья бросился в пролом. Сетка зацепила рукав рубашки, дёрнула назад, и он рванулся вперёд, и ткань затрещала и порвалась, и острый край проволоки полоснул по руке выше запястья.

— Сука, — сказал он вслух, сквозь зубы, и не почувствовал боли.

Будка стояла перед ним — низкая, кирпичная, с проломом в стене и чёрными языками копоти. Рядом, у самой стены, была воронка. Меньше, чем на фотографии. Рыжая глина, лужа мутной воды на дне, обрывок толстого кабеля в чёрной оплётке, осколки кирпича.

Метр? Полтора? Слишком мелкая. Траншея рабочего была глубже? Он не знал.

За спиной было светло.

Он прыгнул.

Прыжок получился неловким. Он приземлился на дно боком, одна нога в лужу, другая на кусок бетона, и не удержался, упал на руку — ладонь проехала по острому краю бетона, и кожу обожгло, и только тогда он почувствовал боль в руке, выше запястья, где его полоснула проволока. Вода в луже была холодная и вонючая. Он подтянул ноги, свернулся на дне воронки, прижал колени к груди, обхватил их руками и вжался в стенку, в рыжую глину, так, чтобы как можно меньше торчать над дном. Лицо прижал к коленям. Подумал: голову. Голову пригнуть. Пригнул. Шея хрустнула.

Свет сверху изменился.

Сначала он стал ярче — бледнее, холоднее, как бывает, когда солнце выходит из-за облака, только наоборот: свет стал не тёплым, а каким-то зелёно-белым, больничным. Потом сверху посыпалось. Мелкое, сухое: земля, песок, крошка кирпича, какая-то щепка, кусочек красно-белой ленты. Всё это падало ему на шею, на спину, за воротник, и он не двигался. Земля под ним дрогнула. Ещё раз. Не как от шагов. Не ритмично. Толчки шли неровно, то чаще, то реже, волнами, и вместе с ними дрожала глина у его щеки.

Потом свет закрылся.

Не весь. Не как при затмении — не темнота. Над воронкой, над её краем, прямо над ним, двигалось что-то бледное, светящееся, и закрывало небо, и свет теперь шёл не сверху, а от этого, изнутри этого, тусклый, зеленоватый, неровный. Илья поднял глаза. Он не собирался, глаза поднялись сами.

Оно было близко. Метр над ним. Может, меньше. Бледная поверхность, влажная, блестящая, шла над воронкой, как идёт по небу низкая туча. Она была полупрозрачной — не как стекло, как воск. Как застывший жир на холодном бульоне. Она морщилась мелкими складками и разглаживалась. Без начала и без конца: в полоску неба за краем воронки входило тело, проходило над ним, и следом входило новое.

С крыши было видно всё. Здесь — ничего, кроме этого.

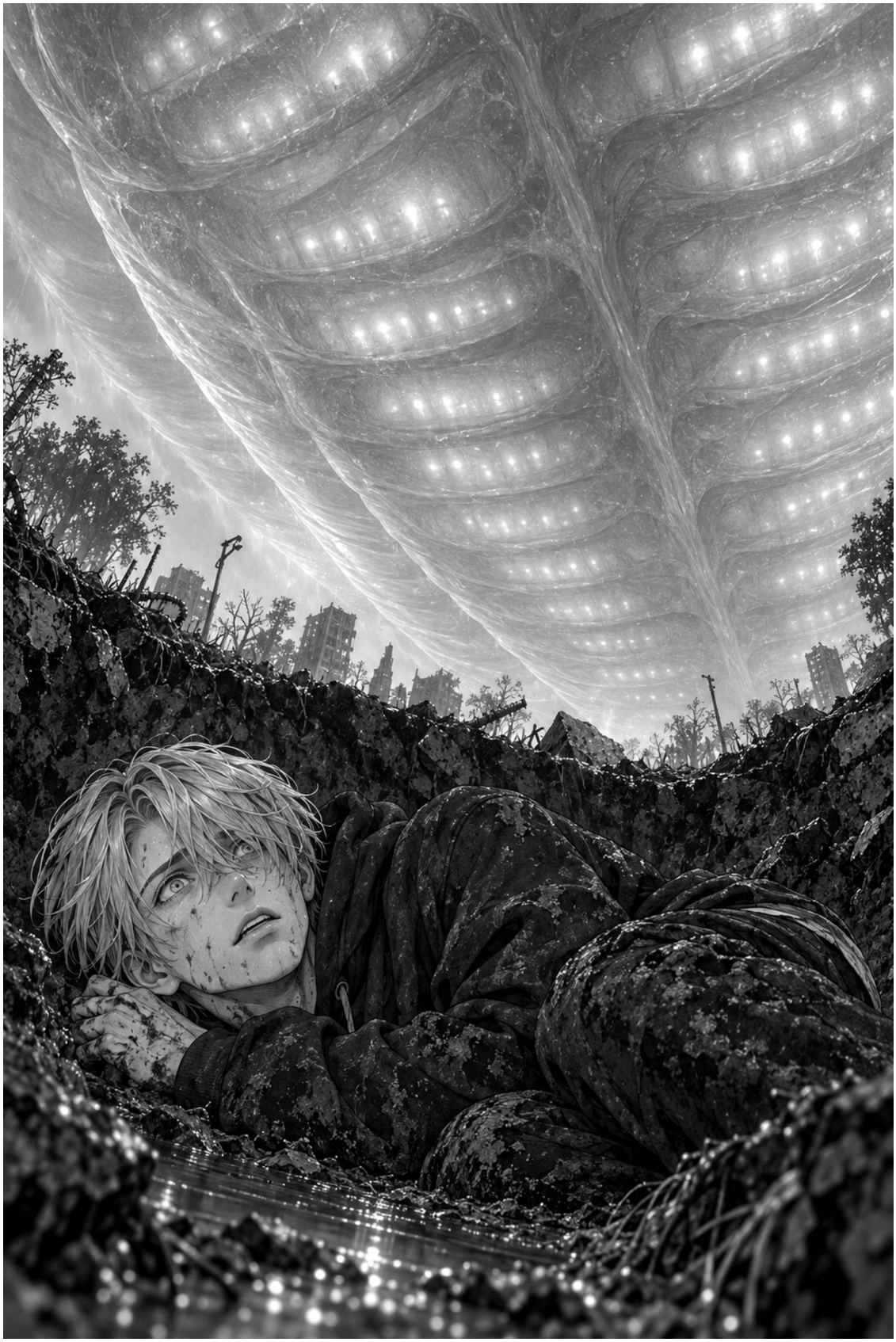
И свет внутри.

С крыши он видел пятна — тусклые, расплывчатые, перетекающие. Здесь, вблизи, пятна распадались на точки. Под восковой поверхностью, совсем неглубоко — в ладонь, не больше, — горели огоньки. Маленькие. Ровные. И они стояли рядами. Он не сразу это понял, а когда понял, не поверил и посмотрел ещё раз. Ряды. Огоньки стояли рядами, один над другим, как… как стоят…

Подвал. Подвал их дома, сарайки, клетушки из крашеных досок за железной дверью, у каждой квартиры своя. У них — двенадцатая. Маленький Илья стоит в темноте у двери двенадцатой сарайки, и мама говорит: «Сбегай, возьми огурцы, третья полка слева», — и он спускается в подвал один, первый раз один, и там темно и пахнет сыростью, землёй и уксусом, и он нашаривает на стене выключатель, и щёлкает, и загорается голая лампочка под потолком — и на полках вдоль стен вспыхивают банки. Ряды банок. Огурцы, помидоры, компот, лечо, варенье. Каждая банка ловит свет лампочки и отдаёт его обратно маленьким бликом, и весь подвал вдруг наполняется этими бликами, ровными, рядами, полка над полкой, и маленький Илья стоит и смотрит на них, и ему страшно и красиво одновременно.

Как банки, подумал он.

Мысль пришла и ушла. Он не удержал её, потому что стало трудно дышать.



Воздух в воронке стал тяжёлым. Тёплым, влажным, с тем самым запахом — подвала, сырости, чего-то сладковатого. Его было мало. Илья вдохнул и почувствовал, что вдоха не

хватило, и вдохнул снова, глубже, и снова не хватило. Тело над ним закрывало воронку почти целиком, и он дышал тем, что уже надышал. Он заставил себя дышать реже. Вдох. Выдох. Сердце колотилось так, что отдавало в уши.

В горле запершило. Он не знал, слышит ли оно, есть ли у него уши, и не собирался проверять. Он прижал лицо к мокрой джинсе и дышал в колено. Правая нога в луже затекла, по голени поползли колючие мурашки, и он не смел пошевелиться. Смотрел одним глазом на обрывок кабеля в чёрной оплётке, на каплю, которая ползла по нему вниз.

Дима бы сказал, что он наконец научился строить базу.

Мысль пришла откуда-то сбоку и была такой нелепой, что он чуть не засмеялся, и испугался, что засмеётся, и засмеялся бы, если бы хватило воздуха. В «Майнкрафте», в пятом классе, в шестом, в седьмом, Дима всегда строил базу под землёй. Копал шахту, уходил вглубь, обкладывал стены камнем, ставил факелы и сундуки. Илья строил на поверхности — дома, башни, мосты, всё красивое и всё ночью разнесённое криперами. И Дима каждый раз говорил: «Под землю надо было, дебил», — а Илья каждый раз говорил, что под землёй скучно, там нет неба. Вот тебе небо, подумал Илья. Вот тебе полоска неба. Я под землёй. Скажи мне, что я дебил.

Некому было сказать.

Он пытался считать секунды. Досчитал до сорока и сбился. На крыше было двадцать минут. Сколько прошло здесь? Он начинал и сбивался, начинал и сбивался.

Мама. Мама сейчас дома. Или нет. Недоступна. Капуста на голубцы. Отец не берёт трубку, телефон в куртке, куртка на стуле. Мелкая занята. С кем ты говоришь, мелкая? Он вспомнил про бальзам. В левом кармане джинсов лежал бальзам для губ с запахом арбуза, он чувствовал его бедром, маленький пластиковый цилиндрик, и ему вдруг стало невыносимо оттого, что он его не отдал. Мелкая попросила. Он купил. Он не отдал. Это было важно, это было самое важное, это надо было сделать — дойти и отдать. Он пошевелил пальцами левой руки, пытаясь дотянуться до кармана, и не дотянулся.

Воздуха не было. Грудь поднималась и опускалась, а воздух не приходил, как через подушку. Перед глазами поплыли серые точки, как рябь на экране старого телевизора. Он подумал, что надо поднять голову, и не мог вспомнить, как поднимают голову.

Свет изменился снова.

Полоска неба за краем воронки стала шире. Сначала совсем чуть-чуть — Илья даже не понял, что видит. Потом шире. Бледное тело над ним истончалось, отступало, уходило в одну сторону, и в воронку упал настоящий свет, жёлтый, горячий, дневной. И воздух. Он почувствовал его лицом, щекой: ветер. Свежий, сухой, пахнущий пылью и нагретой травой.

Он поднял голову. Сделал вдох — глубокий, жадный, до самого дна. Ещё. Ещё. Воздух входил в лёгкие, и от него кружилась голова, и точки перед глазами не уходили, а становились гуще, сливались по краям в тёмную раму. Он попытался подняться, опёрся рукой о стенку воронки — той рукой, с содранной ладонью, — и рука соскользнула по мокрой глине, и он снова упал на бок, в лужу. Сердце колотилось где-то в горле. Он дышал и дышал, и воздуха было много, и его всё равно не хватало, и тёмная рама по краям зрения сужалась, сужалась, и в середине оставалась только полоска неба, голубая, чистая, с белым облаком посередине.

Домой, подумал он. Надо домой.

Полоска неба стала тоньше. Потом погасла.

Глава 4. Беги

Сначала было холодно.

Холод пришёл раньше всего остального — раньше света, раньше звука, раньше мысли. Он лежал вдоль всего тела, вдоль бока и щеки, мокрый, травяной, и пробирался сквозь рубашку и джинсы к коже. Потом пришёл запах: земля, трава, сырость, что-то грибное. Потом звук — ровный, частый, шелестящий, со всех сторон сразу. Илья долго не мог понять, что это за звук, и лежал, и слушал, и где-то на краю сознания медленно собиралось слово. Дождь. Это был дождь.

Он открыл глаза.

Перед лицом, очень близко, стояли стебли травы. Зелёные, толстые, с каплями на каждом листе. Капли дрожали. Одна скатилась по стеблю, собралась на кончике листа, повисела и упала ему на щёку. Он смотрел на неё и думал: воронка. Я в воронке. Сейчас подниму голову — и увижу рыжую глину, обрывок кабеля, кирпичную будку. Сейчас.

Он поднял голову. Голова была тяжёлой, как чужая, и мир качнулся и встал на место не сразу.

Воронки не было.

Он лежал в траве посреди поляны. Поляна была большая, неровная, с кочками, заросшая высокой травой, какой-то осокой, и по краям её стоял лес — тёмный, мокрый, из деревьев, названия которых он не знал: высокие, прямые, с тёмной корой и густыми кронами, которые сливались под дождём в одну серо-зелёную стену. Небо было низким и серым, одного цвета от края до края. Дождь шёл ровно и спокойно, без ветра, как идёт дождь, который никуда не торопится и собирается идти до вечера. Или до утра. Никакой будки. Никакого забора. Никакого парка, никакой дороги, никакого города. Ни одного звука, кроме дождя.

Илья сел. Это заняло много времени. Руки слушались плохо, ноги вообще лежали где-то отдельно от него. Голова кружилась. Во рту был вкус глины и чего-то кислого. Он сидел в мокрой траве и смотрел на свои руки. Правая ладонь была содрана — длинная ссадина через всю ладонь, от основания большого пальца, с запёкшейся по краям кровью и грязью. Выше запястья — царапина от проволоки, неглубокая, длинная. Рукав рубашки порван и висит лоскутом. Джинсы на коленях в рыжей глине. Той самой глине. Из воронки.

Значит, воронка была. Значит, это было. Значит, это есть.

Он полез в карманы, сам не зная зачем. Телефон в заднем кармане. Он вытащил его, нажал кнопку. Экран остался чёрным. Нажал ещё. Чёрный. Сел? Разбился? Он повертел его в пальцах — вроде целый — и сунул обратно. Ключи от квартиры в переднем кармане, связка с брелоком-открывашкой. Мелкий пластиковый цилиндр в левом кармане — бальзам. Чек из пиццерии, мокрый, скомканный, в заднем. Всё было на месте. Он был весь на месте, вместе с порванным рукавом и глиной на коленях. Изменилось только всё остальное.

Он не знал, что с этим делать, и поэтому просто сидел.

Где-то рядом, слева, пищал комар. Нет, не комар. Звук был выше и прерывистей, и в нём был какой-то ритм, будто кто-то… Птица? Какая-то маленькая птица в траве. Или ветер свистит в чём-то. Илья повернул голову на звук.

В траве, в метре от него, стояла банка.

Обычная стеклянная банка. Литровая. Такие стоят у мамы в шкафу над плитой, пустые, вымытые, перевёрнутые вверх дном, в ожидании осени. Такие стояли в подвале на полках. С гладкими боками и узким горлышком с ободком — под закатку, под жестяную крышку. Крышки не было. Горлышко было открыто, и дождь падал прямо в него, и по стеклу изнутри и снаружи текли капли, и внутри, на дне, было уже довольно много воды — Илья видел, как она колышется.

В воде кто-то стоял.

Илья смотрел на это и не понимал. Внутри банки, на дне, по щиколотку в дождевой воде, стоял человек. Маленький. С мизинец. Он стоял, упёршись обеими ладонями в стекло, и что-то кричал — это его голос Илья принял за комариный писк, — и бил ладонями по стеклу, и снова кричал.

Первым Илья узнал не лицо. Лицо было слишком маленьким, да и дождь, да и стекло. Первой он узнал футболку — чёрную, с выцветшим белым принтом на груди, с каким-то логотипом, который он видел сегодня… сегодня? — через стол, над последним куском пиццы. Потом узнал, как этот человечек стоит: чуть ссутулившись, наклонив голову к левому плечу, как стоял всегда, когда злился. Потом — как он бьёт ладонью по стеклу. Не кулаком, а ладонью, плашмя, коротко и зло, как хлопают по столу, когда собеседник не понимает очевидного.

Дима всегда так делал. С первого класса.

— Дима? — сказал Илья.

Голос не послушался. Вышло хрипло и тихо. Он кашлянул и сказал громче:

— Дима?!

Человечек в банке перестал бить по стеклу, задрал голову, посмотрел на Илью — и Илья увидел лицо. Крошечное, мокрое, перекошенное. Лицо Димы. Совершенно точно лицо Димы, до последней черты, только размером с ноготь.

— БЕГИ! — крикнул Дима.

Голос был тонкий, высокий, как голос из телефона, если поставить громкость на самый минимум, — но это был его голос. Его интонация. Его «беги», которое Илья слышал сотни раз: когда они убегали от сторожа летнего кафе, от собаки на даче, от завуча, от старшеклассников в восьмом классе.

— Что?.. — сказал Илья.

— БЕГИ! — Дима снова ударил по стеклу. — Илья! Бери меня и беги! Бери и беги, сейчас, не смотри туда, БЕГИ!



Илья не понял, куда «туда». Он не понял ничего. Он не понял, почему Дима в банке, почему Дима маленький, почему дождь, почему поляна, почему лес, почему не город. У него

в голове не было ни одного ответа. Но его тело, которое тринадцать лет слышало это «беги», которое бегало вместе с Димой от сторожей, собак и старшеклассников и ни разу не пожалело, — его тело ответило раньше головы.

Он схватил банку.

Стекло было мокрое, скользкое и холодное, и в нём плескалась вода, и вода плеснула Диме по пояс, и Дима что-то крикнул. Илья прижал банку к груди обеими руками, как прижимают что-то, что боятся уронить, и попытался встать. Ноги подломились. Он упал на колено, чуть не выронил банку, поймал её, прижал снова и встал. Поляна качнулась. Он побежал.

Бежать было куда. Это единственное, что он успел понять: поляна не была круглой, она тянулась в одну сторону длинным языком между деревьями, и в той стороне, куда она тянулась, лес расступался и было светлее. Туда. Он побежал туда. Трава хлестала по джинсам, мокрая, тяжёлая, путалась в ногах. Кроссовки проваливались в мягкую землю между кочками и выходили из неё с чавканьем. Джинсы набухли от воды и стали тяжёлыми, как брезент. Дождь заливал глаза. Банка в руках была скользкой, и он перехватывал её, и прижимал локтями, и снова перехватывал, и внутри неё плескалась вода, и Дима держался за стенку и кричал что-то, но Илья не разбирал слов за шумом дождя и собственного дыхания.

Он поскользнулся на кочке и полетел вперёд. Выставил руку — ту, содранную, — и упал на неё, и боль прошила до локтя. Банку он удержал. Прижал к груди локтем, как прижимают мяч, и упал на бок, на плечо, мимо банки. Внутри плеснуло.

— Живой?! — крикнул он в банку, поднимаясь.

— Беги!!

Он побежал дальше. На ходу, не останавливаясь, он оглянулся. Он не собирался. Голова повернулась сама, как поворачивается, когда за спиной кто-то стоит.

На том конце поляны, откуда он бежал, что-то было.

Он не мог сказать что. Он видел траву — высокую траву, которая ложилась. Не от ветра — ветра не было, — а широкой дугой, от края до края поляны, как ложится трава под колесом огромной машины. Только машины не было. Трава просто ложилась, приминалась к земле, и полоса примятой травы двигалась к нему. Он видел дождь. Дождь над той частью поляны шёл неправильно: капли падали не отвесно, а загибались, изгибались внутрь какой-то высокой дуги, как вода изгибается вокруг стекла. И в этом изгибе было что-то зелёное. Тусклый зелёный отсвет, мелькнувший и пропавший, как отражение в луже. И деревья позади стояли не так. Он не мог сказать, в чём дело, но деревья за этой дугой стояли неправильно — выше, чем должны, или ближе, или под другим углом, как будто кто-то вырезал кусок пейзажа и вставил обратно, чуть сдвинув.

Звука не было — вернее, был, но Илья не разобрал его за дождём: какое-то долгое шипение, будто по мокрой траве волокли огромный брезент.

Он смотрел полсекунды. Секунду. Больше он не мог. Глаза не собирали это в одно, отказывались, соскальзывали. Он понял только одно, всем позвоночником: это движется к нему.

Он отвернулся и побежал.

Язык поляны сужался. Деревья подступали с двух сторон, и между ними было светлее, и Илья бежал к этому свету, не разбирая дороги, и в какой-то момент понял, почему там светлее.

Там кончалась земля.

Поляна обрывалась. Прямо перед ним, в трёх шагах, трава кончалась ровной рваной кромкой, и за кромкой был воздух. Он затормозил, проскользив по мокрой траве, и остановился на самом краю, и под ногами у него посыпались комья глины.

Внизу был овраг. Глубокий, крутой, с отвесными стенами рыжей глины, поросшими наверху корнями. По дну его, далеко внизу, текла вода — ручей или просто дождевой поток, мутный, рыжий. А прямо под ногами у Ильи, от самой кромки, вниз уходила траншея — промоина в глине, широкая, как жёлоб, гладкая, блестящая от воды. Она уходила вниз круто, почти

отвесно, потом загибалась и терялась за выступом стены. Метров тридцать. Пятьдесят. Он не мог оценить.

— НЕ ПРЫГАЙ! — крикнул Дима из банки.

Илья оглянулся. Трава за спиной ложилась. Ближе. Намного ближе. Зелёный отсвет в дожде.

— ПРЫГАЙ! — крикнул Дима. — Прыгай, прыгай, ну!!

Илья прижал банку к груди обеими руками, развернулся боком и прыгнул.

Он не прыгнул — он сел. Он сел на край траншеи и оттолкнулся, и земля ушла из-под него, и он поехал.

Это было похоже на горку в аквапарке, если бы горку сделали из мокрой глины и забыли огородить. Он ехал на спине, на боку, снова на спине, и скорость росла так быстро, что через секунду он уже ничего не контролировал. Глина под ним была скользкой, как мыло, и холодной, и она забивалась под рубашку, за воротник, в рукава, в штанины. Он держал банку у груди правой рукой, обхватив её всей ладонью и предплечьем, прижимая к себе так, что стекло вдавливалось в рёбра. Левой рукой он пытался тормозить — хватался за стенку траншеи, за глину, за что-нибудь, — и пальцы скользили, и оставляли в глине борозды, и ничего не держали. Траншея изогнулась, и его швырнуло на стенку, плечом, всем весом, и удар отдался в зубах. Потом его развернуло ногами вперёд. Потом снова боком. Какой-то корень торчал из стенки, и он ударился о него бедром, и корень хрустнул, а может, хрустнуло что-то у него. Глина попала в рот. Он выплюнул её и не смог выплюнуть, она была везде. Он не видел ничего, кроме рыжих стенок, проносящихся мимо, и серого неба в щели наверху, и ничего не слышал, кроме шороха глины под собой и собственного дыхания. Банку он держал. Больше он не думал ни о чём. Руки, рёбра, плечо, бедро — всё это было где-то далеко. Банка была здесь, у груди, и её надо было держать.

Сколько это продолжалось, он не знал. Долго. Траншея изгибалась ещё раз, и ещё, и в какой-то момент стала положе, и скорость начала падать, и его вынесло на что-то мягкое, мокрое, пружинистое — на кучу прелых листьев и веток, нанесённую водой к подножию склона, — и он въехал в эту кучу спиной, и провалился в неё, и остановился.

И лежал.

Над ним было серое небо. Дождь падал ему на лицо. Где-то рядом шумела вода. Он лежал в куче листьев и не двигался, потому что не был уверен, что может. Плечо горело. Бедро горело. Ладонь горела. Во рту была глина. В ушах звенело. Он лежал и слушал, как звенит, и как шумит вода, и как стучит сердце.

Потом он вспомнил про банку.

Он поднял правую руку. Банка была в ней. Он прижимал её так сильно, что пальцы свело, и разжать их удалось не сразу. Он поднёс банку к лицу. Стекло было в глине, мутное, с рыжими разводами. Целое. Он повертел её, ища трещины, — целое. Внутри было темно от глины и мути, и он не видел ничего, и сердце у него сделало что-то нехорошее.



— Дима, — сказал он.
Молчание.

— Дима!

В банке плеснуло. Илья поднёс её ближе, к самым глазам, и увидел.

Дима лежал на дне, на боку, в мутной рыжей воде, которой было теперь по середину стекла, — вода плескалась выше его головы, и он барахтался в ней, пытаясь встать, и не мог встать, потому что вода качалась вместе с банкой, а банка качалась вместе с Ильёй. Он захлёбывался. Илья видел, как он выныривает, хватает ртом воздух и снова уходит под воду.

— Сейчас, — сказал Илья. — Сейчас, сейчас.

Он не знал, что делать. Вылить воду — значит вылить Диму. Наклонить банку — Дима съедет к горлышку вместе с водой. Он смотрел на банку, и в голове было пусто, совершенно пусто, как в воронке, когда кончался воздух. Потом руки сами сделали что-то. Он растопырил пальцы левой руки и прижал их к горлышку — четыре пальца поперёк горлышка, решёткой, с промежутками, — и очень осторожно наклонил банку.

Вода полилась сквозь пальцы. Рыжая, мутная, с песком. Дима съехал к горлышку и упёрся в пальцы спиной, и Илья почувствовал его — крошечное, тёплое, мокрое давление на подушечки пальцев, как если бы к ним прижался жук. Вода лилась. Дима кашлял. Илья наклонял банку всё сильнее, пока из неё не вылилось почти всё, потом медленно вернул её в вертикальное положение. Дима сполз по стенке на дно и остался сидеть в луже воды глубиной в полпальца. Он сидел, согнувшись пополам, и кашлял, долго, мучительно, и Илья держал банку перед лицом, двумя руками, и смотрел, как он кашляет, и не мог ничего сделать.

Кашель затих. Дима сидел, опустив голову, и дышал.

— Ты цел? — спросил Илья.

Дима поднял голову. Лицо было мокрое, в рыжих разводах глины, волосы прилипли ко лбу.

— Нет, — сказал Дима. Голос у него был хриплый, сорванный, тонкий. — Да. Не знаю. — Он поднял одну руку, повертел ею, потом другую. Пошевелил ногами. — Кажется, цел. Всё болит. Но кажется.

— Где болит?

— Везде, Илья. Меня три минуты мотало в стеклянной банке по оврагу. У меня болит всё, что у человека может болеть. — Он потрогал затылок и поморщился. — Затылок. Затылок особенно.

— Я старался держать.

— Я видел. Ты держал. — Дима помолчал. — Спасибо.

Они посмотрели друг на друга. Илья сидел в куче мокрых листьев у подножия оврага, по уши в глине, с банкой у лица, и в банке сидел Дима, по щиколотку в рыжей воде, размером с мизинец. Дождь падал в горлышко. Капли разбивались о дно рядом с Димой, и каждая капля поднимала маленький всплеск, почти ему до колена.

Илья открыл рот и закрыл. Он не знал, что сказать. Он хотел сказать всё сразу — что случилось, где мы, почему ты там, почему ты такой, что это было, что там гналось, где мама, где город, — и все вопросы застряли в горле, толкаясь, как люди у закрытых дверей торгового центра, и ни один не вышел.

Дима посмотрел на него, на его лицо, и что-то в его собственном лице изменилось. Злость ушла из него, как вода из банки, и осталась усталость и что-то ещё, чего Илья не смог назвать.

— Я в банке, — сказал Дима. — Илья. Я, блин, в банке.

— Я вижу.

— Я маленький.

— Я вижу.

— Я в литровой стеклянной банке, ростом с палец, в каком-то лесу, под дождём. — Дима сказал это медленно и очень чётко, будто диктовал в протокол. — Это не сон. Я щипал себя. Час щипал, пока ты там лежал. Оно не проходит.

— Час?

— Не знаю. Может, больше. — Он отвёл глаза. — Я проснулся — и я здесь. А ты лежишь. В метре. Я орал. Ты не просыпался. Я орал так, что сорвал голос. Я думал… — Он договорил.

— Что?

— Ничего. Потом. — Дима тряхнул головой. — Я думал, ты умер, вот что я думал. Ты лежал и не двигался. Ты даже не дышал, мне отсюда не видно было, дышишь ты или нет. Я стоял и орал на тебя, а ты лежал.

Илья не знал, что на это ответить. Он поднёс банку ближе, ещё ближе, так, что стекло почти касалось носа, и посмотрел на Диму вплотную. Крошечное лицо. Крошечные руки. Крошечная футболка с выцветшим принтом, мокрая, прилипшая к телу. Крошечные кроссовки — те же самые, серые, в которых он был в пиццерии. Всё было настоящее. Всё было на месте, только очень маленькое.

— Не дыши на меня, — сказал Дима. — У тебя изо рта пахнет глиной.

— У меня везде глина.

— У тебя изо рта особенно.

Илья отодвинул банку. Потом, сам не понимая почему, засмеялся. Смех вышел странный, короткий, больше похожий на всхлип, и он зажал рот рукой, испачканной в глине, и сидел так, и плечи тряслись. Дима смотрел на него снизу вверх, из банки, и молчал. Потом тоже засмеялся — тоненько, хрипло, закашлялся, снова засмеялся.

— Я заготовка, — сказал Дима сквозь смех. — Илюх. Меня закатали.

— Тебя не закатали. Крышки нет.

— Спасибо. Утешил. Я недозакатан.

— Ты на стадии «пустая, заполнена». До «закатана» не дошли.

— Бомбаж, — сказал Дима. — У меня уже бомбаж. Меня сейчас вздует.

Они смеялись, и это было ужасно, и это было лучшее, что случилось за весь день, и Илья понимал, что если сейчас перестанет смеяться, то не сможет остановить что-то другое, что стояло прямо за смехом, в двух шагах, и ждало. Поэтому он смеялся, пока хватало сил, а потом сил не хватило, и он перестал, и они оба замолчали.

Дождь шёл. Капли падали в банку. Дима посмотрел на воду у своих ног — её снова прибывало, медленно, по капле, — и сказал уже серьёзно:

— Меня заливает. Буквально. Если так пойдёт, через час я опять буду плавать.

— Сейчас. — Илья огляделся. Ничего. Листья, ветки, глина. Он поднял левую руку и накрыл горлышко ладонью.

— Эй! — Дима вскинул голову. — Убери.

— Дождь же.

— Убери, говорю. Мне дышать нечем будет.

— Будет. Я не плотно.

— Ты не знаешь, сколько там воздуха. И я не знаю. Никто не знает, сколько воздуха нужно человеку ростом с палец в литровой банке. Это не посчитано. Это никто никогда не считал. — Голос у Димы стал выше и быстрее, и Илья вдруг понял, что Дима боится. Не дождя — ладони. Ладони, которая закрывает над головой небо. — Убери руку, Илья. Я лучше промокну.

Илья убрал руку.

Они посидели так. Капли падали в банку.

— Ладно, — сказал Дима через минуту. — Не совсем убирай. Наполовину. Сделай козырёк. Как навес на остановке.

Илья сложил ладонь лодочкой и держал её над горлышком наискосок, так, чтобы с одной стороны оставалась щель, и дождь стекал по ладони в сторону, мимо. Дима посмотрел вверх, на ладонь, на щель, в которую было видно небо, и кивнул.

— Принято, — сказал он. — Годится.

Илья сидел в куче мокрых листьев, держа одной рукой банку, а другой — навес над ней, и чувствовал себя полным идиотом, и никогда в жизни не был так рад чувствовать себя идиотом.

— Что это было? — спросил он. — Там. На поляне.

Дима помолчал.

— Потом, — сказал он.

— Ты видел?

— Потом, Илюх. — Дима посмотрел наверх, туда, где над краем оврага, далеко-далеко, висело серое небо. — Сначала давай отсюда уйдём. Мне не нравится, что мы сидим на дне ямы, а оно наверху.

Илья тоже посмотрел наверх. Край оврага был высоко, так высоко, что не верилось, что он оттуда съехал. Траншея, по которой он ехал, темнела в рыжей стене извилистой бороздой. Над краем никого не было. Трава не ложилась, дождь шёл ровно, никаких зелёных отсветов. Ничего. Может быть, оно не могло спуститься. Может быть, не хотело. Может быть, его вообще не было и ему показалось. Он не знал.

— Ладно, — сказал он. — Уйдём.

Встать оказалось труднее, чем он думал. Правое бедро, по которому ударил корень, отказывалось сгибаться как следует, и, когда Илья наступил на правую ногу, боль стрельнула вверх, до поясницы. Плечо тоже болело — тупо, глубоко, при каждом движении рукой. Он поднялся, опираясь на здоровую руку и держа банку в больной, потом переложил банку и постоял, пережидая, пока мир перестанет качаться.

— Ты хромаешь, — сказал Дима.

— Бедро. Корень.

— Сломал?

— Нет. Кажется, нет. Ушиб.

— Кажется.

— Я не врач, Дим. Я фулстек.

— Я тоже фулстек. — Дима помолчал. — Вот и сидим. Два фулстека. Один в овраге, другой в банке.

По дну оврага тёк ручей. Илья пошёл вдоль него, против течения, — не по какой-то причине, просто вверх по течению было светлее. Он шёл, припадая на правую ногу, держа банку перед собой, у груди, и навес из ладони над ней. Глина чавкала под ногами. Джинсы тянули вниз, мокрые, тяжёлые, и хотелось их снять и выжать, и он думал, что потом снимет. Потом. Когда будет где.

— Давай так, — сказал он через какое-то время. — Задачи.

— Давай, — сказал Дима из банки.

Это было их. Так они начинали любой проект, любую сессию, любую подготовку к экзамену: садились и говорили «давай задачи», и один предлагал, другой вычёркивал, и через полчаса на листке оставалось три пункта, и с этими тремя пунктами уже можно было жить.

— Первое, — сказал Илья. — Вода у нас есть.

— Даже слишком.

— Даже слишком. Второе — укрытие. Сухое место. Чтобы тебя не заливало и чтобы я мог сесть.

— Принимается.

— Третье — еда.

— Мне много не надо, — сказал Дима. — Крошка. Полкрошки.

— Мне надо. — Илья вдруг понял, что голоден так, как не был никогда. Пицца была… когда? Сегодня? Он не знал. — Четвёртое. Ты.

— Что — я?

— Вернуть тебя. Нормального размера.

Дима помолчал.

— Это не четвёртое, — сказал он. — Это первое.

— Первое — чтобы ты не утонул.

— Ладно. — Дима смотрел на него снизу. — Тогда пусть будет «первое-главное». А пятое?

— Домой, — сказал Илья.

Слово упало между ними, тяжёлое, как мокрый камень. Домой. Мама. Отец. Мелкая. Недоступна, не берёт трубку, занято. Димины — тишина, тишина, одна серая галочка. Город с бледной полосой посередине проспекта. Женщина в зелёной ветровке. Где этот город? В какой он стороне? Есть ли у этого места стороны?

— Домой, — повторил Дима тихо. — Да.

Больше они об этом не говорили. Илья шёл вдоль ручья, и Дима сидел в банке, и дождь стучал по ладони, которую Илья держал над горлышком, и по стеклу, и по листьям, и по воде. Овраг тянулся и тянулся, стены то сходились, то расходились, и один раз Илья увидел в стене гнездо каких-то ласточек, круглые норки в глине, и показал Диме, и Дима сказал, что это, наверное, первые разумные существа здесь и что с ними надо договориться о временной регистрации.

А потом, за поворотом, в рыжей глиняной стене оврага, Илья увидел дверь.

Обычную дверь. Прямоугольную, крашенную серой масляной краской, с металлической ручкой и табличкой на уровне глаз. Над дверью горела лампочка в плафоне, а у порога лежал резиновый коврик с надписью, которую отсюда нельзя было прочитать.

Илья остановился.

— Ты тоже это видишь? — спросил он.

— Вижу, — сказал Дима. — Коврик. Там коврик.

Глава 5. Декларация

На коврике было написано: «ВЫТИРАЙТЕ НОГИ».

Илья посмотрел на свои кроссовки. Кроссовки были не видны — они превратились в два комка рыжей глины, из которых торчали шнурки. Он посмотрел на джинсы, на рубашку, на руки. Потом, чувствуя себя совершенно по-идиотски, вытер ноги о коврик. Сначала правую, потом левую, как учила мама. Глина осталась на кроссовках, коврик стал рыжим.

— Вот это уважение к чужому труду, — сказал Дима из банки.

— Там написано.

— Там написано, и ты вытер. Ты бы и на двери с надписью «толкай» толкал, даже если бы она горела.

— Если бы она горела, там было бы написано «не входить».

На табличке у двери, на уровне глаз, чёрными буквами по белой эмали было выведено: «ПУНКТ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ. ВХОДЯЩИМ — ПРЕДЪЯВИТЬ». Предъявить что — не уточнялось. Лампочка над дверью горела ровным жёлтым светом, и вокруг неё вились какие-то мелкие мошки, и это было самое нормальное, что Илья видел с тех пор, как очнулся. Мошки вокруг лампочки. Он смотрел на них, как на знакомое лицо в чужом городе.

— Стучим? — спросил он.

— Там сухо, — сказал Дима. — Там есть лампочка. Где лампочка, там электричество. Где электричество, там люди. Где люди, там крошки. Стучи.

Илья постучал.

— Войдите, — сказал из-за двери женский голос, спокойный и немного гнусавый, какой бывает у людей, которые весь день говорят одно и то же.

За дверью была комната.

Почему эта комната поразила его сильнее, чем поляна и овраг, Илья объяснить не мог. Может быть, потому, что поляна и овраг были чужими, а комната была своей. Он знал её. Он был в ней сто раз — в паспортном столе, в почтовом отделении, в регистратуре детской поликлиники, в бухгалтерии отцовской работы, куда его однажды взяли с собой. Крашенные в бледно-зелёный стены до половины, выше — побелка. Линолеум с узором под паркет, протёртый у входа до серой основы. Деревянная скамья вдоль стены, с откидными сиденьями, как в старом кинотеатре. Фикус в кадке, пыльный, с одним жёлтым листом. Часы на стене — круглые, с белым циферблатом, тикающие так громко, что было слышно от двери. И стойка. Деревянная стойка поперёк комнаты, до груди, и над ней — стеклянная перегородка с окошком, и в окошке — полукруглый вырез, чтобы просовывать бумаги.

На скамье у стены, на откидном сиденье, сидел гусь. Серый, крупный, с талончиком в клюве. Он сидел, как сидят в очереди, — ровно, глядя перед собой, и на вошедших не посмотрел.

— У него талон, — шёпотом сказал Дима. — Илюх. У нас нет талона.

— Молчи.

— Он раньше нас пришёл. Это важно. Он будет возмущаться.

Гусь не возмущался.

За стеклом сидела женщина.

Ей было лет пятьдесят. Она была в тёмно-синем форменном кителе с блестящими пуговицами, застёгнутом доверху, и с высокой причёской, закреплённой невидимками. На шнурке на шее у неё висела лупа — большая, в металлической оправе, с деревянной ручкой. На кителе, над левым карманом, был приколот бейдж. На бейдже крупными печатными буквами было написано: «СТРАХ».

Женщина подняла глаза от бумаг. Посмотрела на Илью — на глину, на порванный рукав, на мокрые волосы. Посмотрела на банку. Взяла лупу, поднесла к глазу и посмотрела на банку ещё раз, через лупу, долго и внимательно. Опустила лупу.

— Двое, — сказала она. Не спросила — сказала.

— Двое, — подтвердил Илья.

Женщина кивнула, как будто это было самое обычное дело — человек в глине и человек в банке, — и что-то записала в толстый журнал.

— Декларируете? — спросила она.

— Что? — спросил Илья.

— Страхи. — Женщина подняла на него глаза, терпеливые и немного усталые. — Провозимые. Всё, что ввозится в город, подлежит декларированию. Это для вашей же безопасности.

Илья посмотрел на Диму. Дима смотрел на женщину.

— Извините, — сказал Дима. — «Страх» — это фамилия или должность?

Женщина посмотрела на него через стекло, через лупу, через стекло банки.

— Это я, — сказала она. — Бланк возьмите.

Она просунула в полукруглый вырез лист бумаги. Илья взял его. Бумага была плотная, желтоватая, с типографской шапкой: «ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОВОЗИМЫХ СТРАХОВ». Ниже шла таблица. Графы: «Наименование». «Количество». «Происхождение (отечественное / приобретённое / полученное в дар)». «Цель ввоза (личное пользование / передача третьим лицам)». «Срок годности». Внизу — место для подписи декларанта и отдельное, поменьше, для подписи поручителя. На стене за спиной женщины висели плакаты — Илья только сейчас их заметил. На одном был нарисован человек с чемоданом, из которого торчало что-то тёмное, и надпись: «НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ СТРАХ — ЭТО НАРУШЕНИЕ». На другом, поменьше: «ПРОВОЗ ГОТОВЫХ СТРАХОВ БЕЗ СЕРТИФИКАТА ЗАПРЕЩЁН». На третьем — просто «БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ», и под надписью нарисован глаз.

— Срок годности, — сказал Дима. — У страха есть срок годности?

— У всего есть срок годности, — сказала она. — Если не знаете — ставьте прочерк. Ручка на цепочке.

Ручка действительно была на цепочке — шариковая, синяя, прикованная к стойке тонкой цепочкой, как в банке или на почте. Илья поставил банку на стойку, рядом с окошком, и взял ручку. Ручка не писала. Он почеркал ею по краю бланка, подышал на стержень, почеркал снова. Написала.

— Давай я первый, — сказал Дима. — Поверни меня к ней.

Илья повернул банку так, чтобы Дима оказался лицом к окошку. Женщина наклонилась к стеклу и снова взяла лупу.

— Наименование, — сказала она.

— Страх высоты, — сказал Дима.

Илья посмотрел на него. Он знал. Конечно, он знал. Колесо обозрения, крыша дачи, откуда Дима не мог слезть два часа, пока отец не принёс лестницу; мост в горах, по которому Дима прошёл один раз, держась за перила обеими руками и глядя строго перед собой. Он знал, но никогда не слышал, чтобы Дима говорил это вслух. Так прямо, с наименованием.

— Количество? — спросила она.

— Одна штука.

— Происхождение?

— Отечественное. С детства.

— Цель ввоза?

— Личное пользование, — сказал Дима и помолчал. — Хотя сейчас я бы с удовольствием передал третьим лицам.

Она не улыбнулась. Записала.

— Высота в текущем положении? — спросила она.

— Это в бланке есть? — удивился Илья.

— Это уточнение, — сказала она, не глядя на него.

Дима задрал голову и посмотрел на горлышко банки. Потом на Илью. Потом снова на неё.

— Стенки есть, — сказал он. — Потолка нет. Высота переменная. Зависит от того, как держат.

— Понятно, — сказала она и снова записала. Потом подняла лупу. — Ещё?

— Что — ещё?

— Ещё декларируете? Что-нибудь.

Дима молчал. Илья видел, как он молчит — не как молчат, когда нечего сказать, а как молчат, когда есть что и не хочется. Он стоял в банке, по щиколотку в рыжей воде, маленький, мокрый, и смотрел на женщину-Страх снизу вверх, и что-то в его лице сжалось, как сжимается кулак.



— Нет, — сказал Дима. — Больше ничего.

Она смотрела на него через лупу. Часы на стене тикали, и Илья слышал каждый тик.

— Вы уверены? — спросила она.

— Уверен.

Она положила лупу на стойку и написала что-то в самом низу строки, мелко. Илья вытянул шею, чтобы прочитать, и прочитал вверх ногами: «Со слов декларанта».

— Теперь вы, — сказала она Илье.

Илья взял ручку. Посмотрел на графу «Наименование». Графа была пустой и белой, и казалась очень широкой.

— Червь, — сказал он.

Женщина-Страх подняла на него глаза.

— Опишите.

И Илья описал. Он начал с того, что было, по порядку: проспект, светящееся, огромное, пасть-арка, нижний край на асфальте, зелёные капли. Люди, которые стояли. Люди, которые исчезали. Двадцать минут тела. Он говорил быстро, сбивчиво, и чем дольше говорил, тем сильнее чувствовал, как пересыхает во рту, и как из-под рёбер поднимается что-то холодное и тесное, и как ему хочется замолчать. Она слушала. Не перебивала. Не записывала. Когда он дошёл до воронки, она подняла руку.

— Это вы видели, — сказала она.

— Да.

— Я спрашиваю не что вы видели. Я спрашиваю, что вы везёте.

Илья замолчал.

— Вы видели червя, — сказала она терпеливо, как объясняют ребёнку, почему нельзя совать пальцы в розетку. — Хорошо. Видели. Но червя вы с собой не везёте. Я его не вижу. — Она показала на Илью лупой. — Вы везёте что-то другое. Что?

— Страх, что он… — Илья остановился. Что он — что? Что он вернётся? Что он придёт за ним? Что он уже забрал маму, отца, мелкую? Что он забрал женщину в зелёной ветровке и солдата, который её держал, и что Илья стоял на крыше и смотрел, и ничего не сделал? Что он сам стоял посреди парка и не мог оторвать ногу от плитки? Всё это толкалось в горле, и ни одно не было тем, что нужно. Он чувствовал, что всё это правда и что всё это не то.

— От чего вы бежали? — спросила женщина-Страх. — Сейчас. Сюда. От чего?

Илья вспомнил поляну. Траву, которая ложилась дугой. Дождь, который гнулся. Зелёный отсвет. Деревья, которые стояли не так.

— Я не знаю, — сказал он. — Я не разглядел.

Она смотрела на него. Потом взяла со стойки толстую книгу в коричневом переплёте, раскрыла её где-то посередине, полистала, нашла нужную страницу и провела пальцем по строчкам. Губы у неё шевелились.

— Без наименования не могу, — сказала она наконец. — Незадекларированный страх ввозу не подлежит. Пункт четыре, подпункт «в».

— И что нам делать?

— Задекларировать.

— Я не могу задекларировать то, чего не знаю.

— Тогда я не могу вас пропустить.

Илья смотрел на неё. Она не была злой. Он видел, что она не злая. Она сидела за стеклом, в застёгнутом кителе, с лупой на шнурке, и делала свою работу, и делала её правильно, по книге, и ей было, кажется, даже немного жаль его. Но она не собиралась его пропускать. У неё был подпункт «в».

За её спиной, в стене, было маленькое окно — Илья только сейчас обратил на него внимание. Узкое, с двойной рамой, в каких между стёклами зимой кладут вату. Окно выходило туда, откуда они пришли: на овраг, на рыжую глиняную стену, на серое небо над ней. Дождь за окном шёл ровно и спокойно.

А потом не ровно.

Илья увидел это краем глаза и сначала не поверил. Капли за окном, наверху, над самым краем оврага, начали падать не отвесно. Они загибались. Медленно, едва заметно, как загибаются струи воды вокруг невидимого стекла. И трава над краем оврага, далеко наверху, начала ложиться.

У него похолодели руки.

— Дим, — сказал он тихо.

— Вижу, — сказал Дима. Он тоже смотрел в окно. Голос у него стал совсем тонким. — Вижу.

— Послушайте. — Илья повернулся к ней и наклонился к окошку. — Там. За окном. Оно там. От него мы бежали. Мы не знаем, что это, мы не разглядели, но оно идёт сюда, и нам надо…

Женщина-Страх не повернулась к окну. Она посмотрела на Илью, потом на свою книгу.

— Внутренняя дверь открывается только после оформления, — сказала она. — Пункт два.

— Да какой, к чёрту, пункт!

— Второй, — сказала она, и Илья понял, что она не шутит.

— У вас есть графа «неустановленный»? — вдруг спросил Дима.

Она перевела на него взгляд.

— Что?

— Графа. Для неустановленного страха. — Дима говорил быстро, и Илья узнал этот голос: так Дима разговаривал с техподдержкой, когда у них падал сервер за час до дедлайна. Вежливо, чётко, безостановочно. — Не может быть, чтобы у вас не было порядка на случай, когда декларант не может назвать наименование. Это стандартная ситуация. Люди часто не знают, чего боятся. У вас должен быть порядок. Посмотрите, пожалуйста, в книге.

Она помедлила. Потом снова открыла коричневую книгу и стала листать — медленно, слишком медленно, страница за страницей. Илья смотрел в окно. Дождь гнулся. Трава ложилась. Ближе? Он не мог понять. Он не мог понять, какого оно размера и как далеко, и от этого было хуже.

— Пункт девять, — сказала она. — «Неустановленный страх допускается к ввозу условно, до выяснения, при наличии поручителя».

— Кто может быть поручителем? — спросил Дима.

— Лицо, провозящее собственный установленный страх.

— Я, — сказал Дима. — Я провожу. У меня установленный. Страх высоты, одна штука. Вы записали.

Она посмотрела на свой журнал. Посмотрела на Диму. Взяла лупу и посмотрела на Диму через лупу.

— Поручитель должен расписаться, — сказала она.

Ручка на цепочке была длиннее Димы в три раза. Дима посмотрел на ручку, как смотрят на бревно, которым предлагают расписаться.

— Штемпельная подушка есть? — спросил Дима.

Женщина-Страх молча открыла ящик стойки, достала плоскую жестяную коробочку, открыла её — внутри была фиолетовая подушечка, пропитанная чернилами, — и пододвинула к окошку.

Илья взял коробочку, поднёс её к банке и наклонил банку, осторожно, так, чтобы Дима мог дотянуться. Дима ухватился одной рукой за край горлышка, перегнулся через него, как через бортик бассейна, — Илья видел, как он зажмурился, как побелели у него костяшки на краю стекла, — и прижал палец к фиолетовой подушке. Потом Илья подложил под горлышко бланк, в угол, в графу «подпись поручителя», и Дима прижал палец к бумаге.

На бланке остался отпечаток. Крошечный, фиолетовый, размером с маковое зёрнышко.

Она взяла бланк. Поднесла к лампе. Навела лупу. Смотрела долго — секунд десять, пятнадцать, — и за это время за окном трава над оврагом легла ещё немного, и дождь изогнулся ещё немного. Илья стоял и не дышал.

— Принято, — сказала она.

Она взяла со стойки деревянный штамп, подышала на него, как дышат на печать все бухгалтеры мира, и поставила в верхний угол бланка оттиск. Илья прочитал: «ВВОЗ УСЛОВНЫЙ. ДО ВЫЯСНЕНИЯ». Потом она оторвала от бланка корешок по линии перфорации и просунула

Илье в окошко. На корешке было всё то же самое — таблица, графы, — только в первой строке, где Илья должен был написать наименование, было пусто, а рядом стоял фиолетовый штамп.

— Храните до выяснения, — сказала она. — При выяснении — предъявить.

— Кому?

— Любому пункту.

Она нажала что-то под стойкой. Где-то в стене, справа от стойки, щёлкнул замок, и дверь, которую Илья до этого принимал за шкаф, приоткрылась. За ней был свет — тёплый, вечерний, какой-то жёлто-оранжевый.

Илья сунул корешок в карман, к мокрому чеку, взял банку со стойки, прижал к груди и шагнул к двери.

— Следующий, — сказала она, не поднимая головы.

Гусь встал с откидного сиденья, сиденье хлопнуло, и гусь с талончиком в клюве пошёл к окошку, переваливаясь, деловито, как ходят к окошку люди, которые всё уже приготовили заранее. Дима проводил его взглядом.

— Я хочу знать, что он декларирует, — сказал он.

— Не хочешь.

— Хочу. Больше всего на свете.

На пороге Илья обернулся. Не смог не обернуться. В окне за спиной женщины-Страха шёл дождь. Ровный. Отвесный. Трава над оврагом стояла. Ничего не гнулось. Или ему показалось, и не гнулось никогда. Или оно ушло. Или…

— Спасибо, — сказал он.

Она кивнула, не поднимая головы от журнала.

— Там ступенька, — сказала она.

Ступенька действительно была. Сразу за дверью, высокая, неудобная, вниз. Илья её не заметил бы. Он оступился бы на ней, с банкой в руках, с больным бедром, и полетел бы вперёд. Он нащупал её ногой, спустился и только тогда понял, что его предупредили вовремя.

— Слушай, — сказал Дима из банки, когда дверь за ними закрылась. — А ведь она хорошая.

— Кто?

— Страх. Нормальная тётка. Работу свою знает.

— Она нас чуть не оставила там.

— Чуть не оставила. Но нашла пункт девять. — Дима помолчал. — Могла не искать.

Илья подумал, что Дима прав и что сам он на её месте был бы намного хуже, и ничего не сказал. Он стоял на ступеньке и смотрел на то, что было перед ними.

Перед ними был город.

Улица, мощённая камнем, неровная, поднималась в гору между домами. Дома были странные — ни на что не похожие и одновременно похожие на всё сразу: первый этаж деревянный, тёплый, медовый, второй — из какого-то гладкого серого камня, третий — с балконами, на которых росли настоящие деревья, с корнями, свисающими через перила. Окна светились. Пахло хлебом и нагретой пылью и чем-то цветущим. Было тепло — сухо и тепло, как бывает летним вечером, когда жара уже спала. Над крышами висело небо, чистое, без облаков, персиковое у горизонта. Никакого дождя. Никакого оврага. Ни капли.

По улице шли люди.

Обычные люди, в обычной одежде — рубашки, платья, куртки, фартуки. Женщина несла корзину с яблоками. Двое мужчин спорили, размахивая руками. Мальчишка катил обруч по камням. И у каждого на груди, слева, там, где у женщины-Страха, был приколот бейдж. Илья прищурился и прочитал ближайший, на груди у мужчины, который проходил мимо, ссутулившись, с тяжёлой сумкой через плечо.

«РАДОСТЬ».

Мужчина с надписью «Радость» остановился у ближайшей стены, поставил сумку на камни, прислонился к ней лбом и тяжело, устало вздохнул. Постоял так. Потом вытер глаза тыльной стороной ладони, поднял сумку и пошёл дальше.

— Дим, — сказал Илья.

— Вижу, — сказал Дима. — Я, кажется, сейчас всё увижу.

Глава 6. Мастерская

Город шёл в гору, и Илья шёл вместе с ним, припадая на правую ногу и прижимая банку к груди.

Он старался не смотреть на людей слишком откровенно, но не смотреть не получалось. Бейджи были у всех. У стариков, у детей, у женщины, которая развешивала бельё на балконе с деревом, у мужчины, который чинил велосипед прямо посреди улицы, перевернув его вверх колёсами. Бейджи были одинаковые — белые прямоугольники с чёрными печатными буквами, приколотые слева на груди, — и на каждом было одно слово. Илья читал их на ходу, как вывески в незнакомом городе, и каждое слово попадало куда-то не туда.

«ГНЕВ» — огромный, широкоплечий мужик с бородой, похожий на грузчика, стоял у крыльца и бережно, двумя пальцами, поправлял шарф на шее у крошечной старушки, которая что-то ему выговаривала. Он кивал, поправлял, снова кивал, и лицо у него было виноватое и нежное.

«СКУКА» — девушка лет восемнадцати сидела на ступеньках с книгой и с таким жаром спорила с подругой о какой-то главе, что размахивала книгой, как флагом. Подруга была «ВОСТОРГ» и слушала её с выражением смертельной тоски.

«ЛЮБОПЫТСТВО» — пожилой мужчина в кресле у открытой двери дремал, сложив руки на животе, и не открыл глаз, когда мимо прошёл человек в глине с банкой.

— Это что, — тихо сказал Дима, — у всех неправильные?

— Не знаю. — Илья смотрел на мальчишку с обручем. На мальчишке было написано «ТРЕВОГА», и он смеялся, запрокинув голову, и гнал обруч по камням с такой беззаботностью, какой Илья не видел ни у одного ребёнка. — Может, это не имена. Может, это… работа.

— Как у Страха.

— Она-то как раз правильная.

— Она — да, — согласился Дима. — Может, на таможне проверяют.

На них смотрели. Не пялились — смотрели, как на туриста с большим рюкзаком: с интересом, коротко, без удивления. Женщина с корзиной яблок скользнула глазами по банке, по Диме внутри и сказала подруге: «Маленький какой», — и подруга ответила: «Бывает», — и они пошли дальше. Илья обернулся им вслед. Бывает. Человек ростом с палец в литровой банке. Бывает.

— «Бывает», — повторил Дима из банки. — Ты слышал? Бывает.

— Слышал.

— Я хочу знать, где именно бывает. Я хочу адрес. Я хочу поговорить с руководством того места, где бывает.

По улице тянулись гирлянды. Не электрические — бумажные флажки, красные, жёлтые, зелёные, натянутые между балконами. На стенах висели плакаты, нарисованные от руки, яркими красками. На одном было написано: «ЗАВТРА — ПРАЗДНИК БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ!» На другом: «ЖИТЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ!» На третьем была нарисована улыбающаяся рожица и крупно: «НЕ БОЙСЯ!» — и кто-то пририсовал рожице усы.

А между плакатами работали люди. Илья не сразу понял, что они делают. Двое мужчин на стремянке откручивали от стены эмалированную табличку, и Илья успел прочитать на ней «ОСТОРОЖНО, СКОЛЬЗКО», прежде чем табличку сняли и бросили в тачку, где уже лежали другие: «НЕ ВЛЕЗАЙ», «БЕРЕГИ ГОЛОВУ», «ВЫСОКИЙ ПОРОГ», «ЗЛАЯ СОБАКА». Дальше по улице женщина с ножовкой пилила перила у лестницы, которая вела вниз, к какой-то воде, и перила падали на камни с сухим деревянным стуком. На фонарных столбах висели фонари — не обычные, а маленькие, с красными стёклами, как сигнальные, — и их тоже снимали, по одному, и складывали в ящик.

— Они всё снимают, — сказал Илья.

— Праздник без предупреждений, — сказал Дима. — Логично. Нет знаков — нет предупреждений.

— Это не логично.

— Я не говорил, что это умно. Я сказал, что логично.

Илья остановился. Бедро болело, ладонь горела, и он не знал, куда идёт. Он понял, что ему нужно сесть. Что ему нужно, чтобы Дима был где-нибудь, где не льёт, не качается и не плещется. Что ему нужно поесть. Что ему нужно, чтобы кто-нибудь сказал, что делать, — и что он не знает, кого спросить, потому что каждый встречный носил на груди слово, которое ничего не значило.

Мальчишка с обручем пронёсся мимо, развернулся, затормозил пяткой и посмотрел на банку. Посмотрел внимательно, с интересом, наклонив голову, и Илья вдруг увидел, что у мальчишки на лбу шишка, а на локте ссадина — свежая, в зелёнке.

— У вас стекло грязное, — сказал мальчишка. — Вам к Осторожности надо.

— К кому? — спросил Илья.

— К Осторожности. У неё мастерская. Она всё чинит. — Мальчишка махнул рукой вверх по улице. — Там, у канала, где фонари. Только быстрее, — добавил он. — Завтра её уже не будет.

— Почему?

— Так праздник же, — сказал мальчишка и укатил, стуча обручем по камням.

Мастерская стояла в самом конце улицы, там, где город упирался в канал. Канал был узкий, с каменными берегами, и через него были перекинуты мостки, а над ним, высоко, выше крыш, между двумя самыми высокими домами висела галерея — длинный деревянный мост на тросах, лёгкий, ажурный, с верёвочными перилами. Илья задрал голову. Галерея была красивая. По ней шли люди, крошечные на такой высоте, и она чуть заметно покачивалась.

Сама мастерская была узкой, в два этажа, с деревянным первым этажом и каменным вторым, и над дверью у неё висела вывеска, вырезанная из жести: «ФОНАРИ. ПЕРИЛА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Окна светились тёплым светом. Из трубы на крыше поднимался дымок. А у стены, аккуратно сложенные в штабель, стояли фонари — те самые, с красными стёклами, снятые с улицы, — и штабель был высотой почти в человеческий рост.

Илья постучал.

— Открыто, — сказали изнутри. — Дверь придержите, петля скрипит.

Петля скрипнула, когда он открыл дверь, — пронзительно, громко, так, что он вздрогнул. Он придержал дверь, и она закрылась за ним мягко, без хлопка.

Внутри пахло машинным маслом, горячим стеклом и чаем. Мастерская была тесной, заставленной до потолка: вдоль стен на стеллажах стояли фонари всех размеров, от крошечных, с напёрсток, до огромных, в человеческий рост; висели мотки верёвки и троса; лежали колокольчики, свистки, эмалированные таблички, стопки жести, куски цветного стекла. В углу гудела маленькая печь, и на ней стоял чайник. Посередине комнаты тянулся длинный верстак, заваленный инструментами, и над верстаком горела лампа на гнущейся ножке.

За верстаком сидела женщина.

Ей было за шестьдесят. Седые волосы собраны в пучок на затылке, на носу очки, ещё одни, другие, висят на цепочке на груди. Холщовый фартук в масляных пятнах. Руки — крупные, спокойные, с короткими ногтями, с пятнами старых ожогов на пальцах. Она держала в руках фонарь с разбитым стеклом и выковыривала из рамки осколки тонким пинцетом. Когда Илья вошёл, она подняла глаза, посмотрела на него поверх очков — и продолжила выковыривать осколки.

Бейдж на её фартуке говорил: «ОСТОРОЖНОСТЬ».

Илья стоял у двери и смотрел на бейдж. Он не знал, чего ждал. Чего-то другого. Кого-то другого. Суетливого, в оранжевом жилете, со свистком на шее. Или бледного, с поджатыми губами, который на каждом шагу хватает за рукав. Кого угодно, но не эту женщину с пинцетом, похожую на учительницу химии, которая вот-вот выйдет на пенсию и знает об этом, и нисколько не огорчена.

— А где каска? — спросил Дима из банки.

Женщина подняла глаза. Посмотрела на банку. Сняла очки для работы, надела те, что висели на цепочке, и посмотрела ещё раз.

— А вы думали — каска и свисток? — сказала она. Голос у неё был ровный, низкий, без всякого выражения, как у диктора, читающего прогноз погоды. — Ставьте на верстак. Сюда, на тряпку. Нет, не туда, там край. Сюда.

Илья поставил банку на тряпку. Женщина отложила фонарь, придвинула лампу на гнущейся ножке и наклонила её так, что свет упал на банку сбоку, косо, почти вдоль стекла. Стекло засветилось, и на нём проступили все разводы, все потёки глины, все пятна.

— Я не могу отпустить, — сказал Илья.

Он и сам не понял, почему это сказал. Он держал банку двумя руками, на тряпке, на верстаке, и не разжимал пальцы. Женщина посмотрела на его руки.

— Я не заберу, — сказала она. — Мне надо посмотреть стекло. Руки можете не убирать. Только уберите вот этот палец, он мне свет закрывает.

Илья убрал палец. Потом, через секунду, остальные. Руки легли на верстак по обе стороны от банки, рядом, в сантиметре.

Женщина наклонилась к стеклу и стала поворачивать банку на тряпке, по кругу, так, чтобы свет прошёл по каждому сантиметру. Дима внутри держался за стенку и поворачивался вместе с банкой. Женщина смотрела. Поворачивала. Смотрела.

— Вот тут, — сказала она. — На плече, под горлышком. Трещина.

У Ильи что-то оборвалось внутри. Он наклонился. На стекле, чуть ниже горлышка, там, где банка сужалась, была тонкая яркая линия, короткая, сантиметра в два. Он смотрел на неё и видел овраг, корень, удар плечом о глиняную стену. Он не удержал. Он думал, что удержал, а он…

Женщина повернула банку ещё на градус. Линия погасла. Повернула обратно. Линия вспыхнула. Повернула снова. Погасла.

— Нет, — сказала она. — Блик. Отражение от лампы. Ошиблась. Трещины нет.

Она выпрямилась, сняла очки и потёрла переносицу. Илья выдохнул так, что у него заболели рёбра.

— Вы нас напугали, — сказал Дима.

— Бывает, — сказала женщина и повернула банку ещё раз, до конца, до начала круга. — Стекло целое. Горлышко целое. Дно целое. Грязное всё. Вымоем.

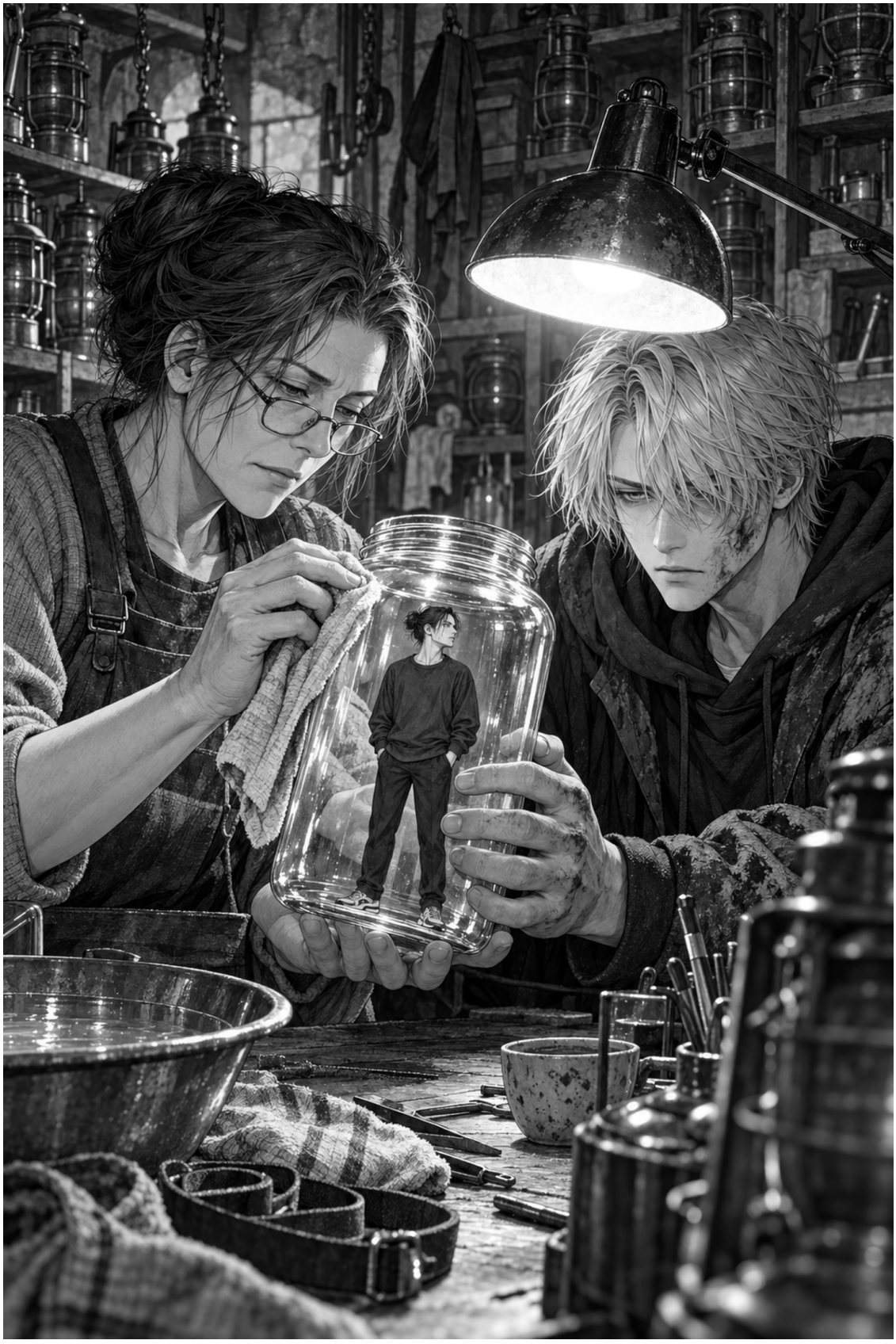
Она вымыла. Илья смотрел, как она это делает, и не мог отвести глаз, потому что это было похоже на какую-то хирургическую операцию. Она поставила банку в широкий медный таз, взяла чайник с печи, разбавила кипяток холодной водой из ведра, попробовала пальцем, разбавила ещё, снова попробовала. Потом положила на горлышко банки мелкое латунное ситечко, как для чая, и тонкой струйкой стала лить воду сквозь ситечко внутрь, по стенке. Вода стекала вниз, смывая глину. Дима стоял внутри, раскинув руки, как под душем, и отфыркивался.

— Горячо? — спросила женщина.

— Нормально, — сказал Дима. — Даже хорошо. — Он помолчал. — Очень хорошо, на самом деле.

Потом она придержала ситечко пальцем и наклонила банку, и вода вылилась сквозь ситечко в таз, рыжая, мутная, а Дима остался внутри, прижатый к сетке, мокрый, но чистый. Потом снова налила. Потом снова вылила. Потом протёрла стекло снаружи мягкой тряпкой.

Потом вынула из ящика стола кусок сухой фланели, свернула в плотную маленькую подушку и опустила на дно банки пинцетом, так, чтобы Диме было на чём сидеть не в воде.



— Спасибо, — сказал Дима. Он сел на фланель, прислонившись спиной к стеклу, и закрыл глаза.

— Теперь вы, — сказала женщина Илье. — Руку покажите.

Он показал. Она промыла ему ладонь — тем же точным движением, — намазала чем-то жгучим, от чего он зашипел сквозь зубы, и забинтовала полоской чистой ткани. Посмотрела на царапину выше запястья, сказала «ерунда», намазала и её. Спросила, почему он хромает. Он сказал про корень. Она велела показать бедро, он замялся, и она сказала «ладно, потом» и налила ему чаю.

Чай был крепкий, горячий, с чем-то травяным. Илья пил и чувствовал, как тепло спускается по горлу в живот и дальше, в ноги, и как ноги перестают дрожать. Женщина поставила перед ним тарелку: хлеб, толстый ломоть, с тёмной корочкой, кусок сыра, яблоко. Он съел хлеб в четыре укуса, не почувствовав вкуса, и только потом понял, что забыл про Диму. Он отломил от корки крошку, самую маленькую, какую смог, и опустил в банку. Крошка упала рядом с Димой, на фланель, и была размером с его голову.

— Спасибо, — сказал Дима, посмотрев на крошку. — Я съем её к четвергу.

Женщина взяла напёрсток — настоящий латунный напёрсток — налила в него чаю из своей чашки, остудила, подула и опустила в банку пинцетом. Дима обхватил напёрсток обеими руками, как ведро, наклонил и отпил. Закрыл глаза.

— Господи, — сказал он. — Чай.

— Как вас зовут? — спросил он женщину. — На самом деле. Не… — Он показал на бейдж.

Женщина посмотрела на него поверх очков.

— Это и есть на самом деле, — сказала она.

— Но вы же не… Вы совсем не суетитесь.

— А осторожность должна суетиться?

Илья не нашёлся, что ответить.

— Осторожность должна быть точной, — сказала она, взяла со стола разбитый фонарь и снова стала выковыривать осколки.

Она работала молча. Илья пил чай. Дима в банке ел крошку, отламывая от неё кусочки, и жевал с закрытыми глазами. В печи трещали дрова. Где-то за окном, на улице, стучал молоток и кто-то смеялся.

— Мальчишка сказал, что завтра вас не будет, — сказал Илья. — Почему?

Женщина не подняла головы от фонаря.

— Завтра меня лишают права предупреждать, — сказала она так же ровно, как говорила про трещину на стекле. — Решение совета. Праздник как раз по этому поводу.

— Вас лишают… права?

— Предупреждать публично. Вешать фонари, ставить знаки, кричать на улице. Я смогу чинить. Смогу говорить, если спросят. Но сама — нет.

— За что?

Она положила пинцет.

— Месяц назад я была на галерее. — Она кивнула на окно, и Илья понял, что она имеет в виду тот висячий мост высоко над каналом. — Я увидела, что трос повреждён. Главный, несущий. Несколько прядей лопнули. Там шли люди, много людей, был базарный день. Я закричала, чтобы все уходили с галереи. Все побежали. Была давка. В давке сломали перила, и мальчик упал. Не с галереи — на настил, но сломал руку. — Она помолчала. — Совет решил, что паника была от моего крика. Что, если бы я не кричала, все бы спокойно прошли и никто бы не упал.

— А трос? — спросил Дима.

— Трос повреждён.

— До сих пор?

— До сих пор. Его никто не чинил. Смелость хотел, — она сказала это так, будто Смелость был её соседом по лестничной клетке, и Илья понял, что, наверное, так и есть, — но ему сказали, что сначала надо снять все знаки к празднику. Знаки важнее.

— Так надо же сказать! — Илья поставил чашку. — Надо всем сказать, что трос…

Женщина посмотрела на него. Спокойно, долго, поверх очков.

— Я сказала, — ответила она. — Меня за это и лишают.

Илья открыл рот и закрыл его. Он сидел за верстаком в мастерской, где пахло маслом и горячим стеклом, и держал в руке чашку с чаем, и понимал, что сказать ему нечего. Дима в банке молча ел крошку.

— Завтра праздник пойдёт через галерею, — сказала женщина и снова взяла пинцет. — Шествие с факелами, от одного берега до другого. Надежда придумал. Это у него любимое — чтобы красиво. — Она выковырнула осколок, положила его в жестяную коробочку. — Вам надо поспать. Наверху есть кровать. А для него, — она кивнула на банку, — я вам кое-что сделаю.

Она сделала. Илья сидел и смотрел, как она работает, и незаметно для себя начал засыпать прямо на табурете, клюя носом, и просыпался каждый раз, когда она что-нибудь роняла. Она взяла кусок плотного холста, серого, вроде парусины, и полосу мягкой кожи. Обмерила банку — сантиметром, по окружности, по высоте, по горлышку. Раскроила холст. Стала шить — толстой иглой, суровой ниткой, быстро, ровными стежками. Через полчаса у неё в руках было что-то вроде глубокого кармана с широким ремнём, который надевался через плечо и через грудь, как перевязь. Дно кармана было подбито кожей и войлоком. В кармане спереди было прорезано большое овальное окно.

— Надевайте, — сказала она.

Илья надел. Ремень лёг через плечо, через грудь, наискосок, и карман оказался у него на груди, чуть ниже ключиц, как кенгурушная сумка. Женщина опустила в карман банку. Банка встала плотно, как влитая, не качаясь, и горлышко торчало наружу, открытое.

— Руки свободны, — сказала она. — И не выроните.

Илья повёл плечами. Банка не сдвинулась. Он чувствовал её вес на груди — лёгкий, тёплый, живой, — и впервые за всё это время его руки были пустыми. Он смотрел на свои руки и не знал, что с ними делать.

— Окно не с той стороны, — сказал Дима.

Илья посмотрел вниз. Окно было прорезано спереди, от Ильи, наружу, так, что Дима внутри видел мастерскую, печь, верстак, женщину. А Илья видел только серый холст и горлышко.

— Можно развернуть, — сказал Илья. — Окном ко мне. Тогда я тебя буду видеть.

— А я буду видеть твою рубашку, — сказал Дима. — Всю дорогу. Двадцать четыре часа в сутки. Твою рубашку в глине.

— Зато я буду видеть, что с тобой.

— А я — куда мы идём. Мне это тоже, знаешь, интересно.

Осторожность стояла у верстака и слушала. Она не вмешивалась. Потом, когда Илья открыл рот, чтобы сказать что-то ещё, она наклонилась к банке — к Диме, не к Илье — и спросила:

— Вам как удобнее?

Дима посмотрел на неё. Илья тоже посмотрел на неё. Она смотрела на Диму.

— Вперёд, — сказал Дима. — Окном вперёд. Я хочу видеть, куда мы идём.

— Значит, вперёд, — сказала она и выпрямилась. — А вы, — она посмотрела на Илью, — если захотите его увидеть, наклоните голову. Горлышко открыто.

Илья наклонил голову. Сверху, в горлышке, был виден Дима — его макушка, плечи, руки, лежащие на фланели. Дима задрал голову и посмотрел на Илью снизу. В горлышке, как в колодце.

— Привет, — сказал Дима.

— Привет, — сказал Илья.

Наверху, под самой крышей, была маленькая комната с одной кроватью, узкой, железной, застеленной колючим шерстяным одеялом. Окно выходило на канал и на галерею. Женщина принесла снизу фонарь — маленький, с красным стеклом, с крошечным огоньком внутри — и поставила его на подоконник рядом с банкой, которую Илья снял с груди и поставил туда же.

— Ему ночник, — сказала она. — В темноте, говорят, в стекле неуютно.

— Кто говорит? — спросил Дима.

Женщина не ответила. Она постояла в дверях, и Илья видел, что она смотрит, как он оглядывает комнату.

Он оглядывал. Он делал это с тех пор, как вошёл, и понял это только сейчас, когда поймал её взгляд. Дверь — одна. Окно — одно, створчатое, открывается, выходит на канал, второй этаж, высоко, но есть карниз. Лестница вниз — узкая, крутая, одна. В углу, у печной трубы, в полу — квадратный люк с железным кольцом. Подпол? Кладовка? Куда он ведёт? Можно ли туда пролезть? Он смотрел на люк и считал, сколько секунд нужно, чтобы откинуть крышку, если…

Если что?

Здесь не было червя. Здесь была мастерская, где пахло чаем, и женщина, которая вымыла Диму тёплой водой. А он прикидывал, успеет ли откинуть крышку люка, прежде чем что-то войдёт в дверь, — и глаза снова находили люк, окно, дверь.

— Два выхода и подпол, — сказала Осторожность из дверей. — Люк в углу, под ним сухо, глубина в рост, выходит в погреб под мастерской, оттуда — дверь на набережную. Окно открывается внутрь, под окном карниз, по карнизу можно дойти до водосточной трубы. — Она помолчала. — Я проверяла. Можно спать.

Илья смотрел на неё. Она смотрела на него — так же ровно и спокойно, как на стекло под косым светом.

— Спасибо, — сказал он.

Она кивнула и ушла вниз. Лестница проскрипела под ней, потом стихла. Внизу звякнуло стекло — она снова взялась за фонарь.

Илья сел на кровать. Потом снял кроссовки — это заняло минут пять, шнурки были в засохшей глине и не развязывались, — снял мокрые джинсы, повесил на спинку кровати и лёг под колючее одеяло. Одеяло пахло шерстью и немного дымом. Бедро ныло. Ладонь под повязкой пульсировала. Потолок был низкий, деревянный, с тёмной балкой посередине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.